

ПРИГЛАШАЕТ «СПОРТПРОГНОЗ»

Эта новая спортивная лотерея предлагает любителям спорта проверить свои знания и испытать свою удачу в ее тиражах.

Выигрывает тот, кто сможет угадать исход встреч не менее 11 из 13 пар команд — участниц данного тиража (тура) чемпионата страны по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу или по другим игровым видам спорта.

Билеты лотереи «Спортпрогноз» продаются в киосках и пунктах «Спортлото». Стоимость бланка билета 2 копейки. Билет содержит шесть вариантов заполнения, два из которых нужно заполнить обязательно. При сдаче заполненного билета в киоск или пункт «Спортлото» играющий обязан оплатить количество заполненных вариантов. Стоимость одного варианта — 30 копеек.

Максимальный выигрыш в лотерее — 10 000 рублей.

В выигрышный фонд каждого тиража поступает 50 процентов стоимости оплаченных ставок по билетам, поступившим для участия в этом тираже.

Доходы лотереи направляются на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, на организацию физкультурно-массовых мероприятий.

**Главное управление спортивных
лотерей Госкомспорта СССР**



Григорий БАКЛАНОВ

СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

Григорий БАКЛАНОВ

СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Григорий БАКЛАНОВ

Григорий Яковлевич Бакланов родился 11 сентября 1923 года в городе Воронеже. В 1941 году добровольцем ушел на фронт, был рядовым бойцом артиллерийского полка на Северо-Западном фронте. После окончания 2-го Ленинградского артиллерийского училища — командир взвода управления артиллерийской батареи, начальник разведки дивизиона на 3-м Украинском фронте. Участвовал в Яско-Кишиневской операции, в освобождении Украины, Болгарии, Румынии, Венгрии, во взятии Вены.

После войны, демобилизовавшись по ранению, окончил в Москве Литературный институт им. А. М. Горького. Печататься начал с 1950 г. Известность принесла ему повесть «Пядь земли», переведенная на многие языки, изданная в тридцати с лишним странах мира. Им написаны также повести «Мертвые сраму не имут», «Карпухин», «Навеки — девятнадцатилетние», «Меньший среди братьев», романы «Июль 41 года», «Друзья», ряд пьес и сценариев, в том числе — к телефильму «Был месяц май».

За повесть «Навеки — девятнадцатилетние» удостоен Государственной премии СССР (1982 г.)

СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

I

Врач долго смотрел снимки, потом исследовал его и, хорошо намыливая руки под краном, не оборачиваясь, сказал: «Ничем, к сожалению, обрадовать вас не могу. Потребуется операция». И сел записывать в историю болезни. Показалось Николаю Ивановичу, врач не владел голосом и лицом.

После раздевания и одевания в присутствии медсестры он чувствовал себя раздавленным. Молодыми, бывало, в госпитале, во время войны, они не столько сами стеснялись, сколько шуточками смущали сестер. Пожилому стыдно.

Он присел на стул, ждал, смотрел, как врач со строгим лицом, включающим неуместные вопросы, пишет и пишет что-то. Хотелось спросить: доктор, это — рак? Но не скажет, соврет. А уж на это человек должен иметь право: знать, сколько ему осталось, и оставшейся жизнью распорядиться по своему разумению. Диагноз себе он поставил заранее, был, как ему казалось, готов ко всему и спокоен, но когда сестра выписала направление на анализы и подвинула бланки, Николай Иванович зачем-то достал шариковую ручку, надел очки и начал было расписываться внизу, как на денежном документе. Значит, напуган, нервничает. А всегда считал, что самое страшное в его жизни случилось, бояться ему нечего.

Он вышел на улицу. Нет, в мире ничего не переменялось. Это он другими глазами видит сейчас все вокруг, а люди так же спешат. И на него, наверное, кто-то смотрел вот так в свой час, да он тогда не чувствовал, не понимал: самого еще не постигло.

Но жизнь тем временем оставалась жизнью, и в ней были у него обязанности. Как раз сегодня исполнялась годовщина смерти человека, который в молодости считался его товарищем, вдова настойчиво просила: «Вы столько сделали для Васи!» — он обещал быть, но — видит бог! — не хотелось, сегодня особенно не хотелось.

Тысячу лет назад, еще до войны, до школы, прочел он у кого-то из американских писателей историю про то, как два индейца спасались от

стаи волков, и вот, поняв, что двоим не уйти, один из них пожертвовал товарищем: на скаку перерубил связки его коню, волки набросились на упавшего, а этот усакал. История древняя как мир, ее только примерили на индейцев.

Вот и Вася в сложные послевоенные годы пожертвовал им. Но, решившись, бледный, пришел к нему доказывать: ты не понимаешь, так надо, время требует... Добивался, чтобы он еще и вину взял на себя и тем очистил Васину совесть. Потом времена переменились, и однажды Васина жена, с которой он знаком не был, прибежала к нему: «Я знаю, между вами что-то произошло, но я слишком хорошо знаю Васю, это такая кристальная натура, ничего недостойного он сделать не мог. Ему сейчас плохо, от вас зависит, но он горд, я умоляю вас...» Когда женщина собою заслоняет мужа и готова на все — у кого хватит духу отказать? Но, сделав раз, он связал себя, отныне он был обязан, а Васе и в дальнейшем почему-то все требовалось помогать, неудачи и беды преследовали его, и вновь: «Вы столько сделали для Васи...» И так благодарила, так благодарила заранее, что невозможно было отказать и впредь. А Вася все тяжелей ненавидел его. И думалось: да почему же он еще и должен? Но знал: должен. Так жизнь устроена, кто способен нести ношу — несет. Не потому ли и прежде смирялись люди: верую, ибо неразумно. Неразумно — это разум еще не смог постичь. И только глупому все ясно: чем ограниченной человек, тем уверенней замахивается на весь порядок вещей.

Собрались немного народу на эту годовщину, год от году приходило все меньше, говорили одно и то же: как все они в долгу перед покойным, как недодали ему при жизни внимания и тепла. Особенно странно говорил один благополучный гражданин, и все — о чувстве «сиротства», какое он испытывает теперь без Васи в свои шестьдесят с лишком. Сочно пожевывая засмазлившимися от хорошей еды губами, он повторял спокойно это «сиротство», фальшь из него так и сочилась, Николай Иванович только успевал глаза опускать.

Но вдова, настойчивостью и стараниями которой все собрались, впитывала каждое слово, щеки ее под пудрой были свекольного цвета, и давление у нее явно поднялось. А трое взрослых сыновей сидели понурые, с вялыми лицами, не очень, как видно, удачные. И обстановка в квартире ветхая, отжившая, а столько ради этих вещей поступались, и еще недавно это было. Но стол ломился. Зная небогатое ее содержание, Николай Иванович мог себе представить, каких стараний стоило все это достать, купить, приготовить. И не первый раз приходила мысль, что, пожертвовав им в те годы, Вася и сам надломился и вся дальнейшая жизнь так и пошла. Получалось нечто утешительное: дескать, есть в жизни некий скрытый закон справедливости... Если бы так! Тогда, наверное, все злодеяния и злодеи давно бы перевелись и люди не страдали бы безвинно.

А в общем, думал он не о Васе. Он сидел как на собственных по-

минках, и не себя ему было жаль сейчас, а жену свою; Полину: ей предстоит. Только пусть не устраивает всего этого, не нужно. Кто вспомнит, тот вспомнит и так, а по обязанности — зачем?

Они поженились не очень молодыми и без особой любви: сошлись, пожили и стали жить вместе. Но жизнь прожили дружно. Детей он не хотел, и теперь получалось так, что оставляет ее одну.

Все то время, пока ждал места в больнице — три недели с лишним, — он ничего не говорил Полине, и она жила не ведая. Но настал день, когда с вещами (все те же ложка-кружка, только теперь, по мирной жизни, еще и тапочки и пижама) они ехали в такси. Лицо Полины было такое, словно не она, а он везет ее класть в больницу. И там, в приемном покое, она никак не могла справиться со страхом за него, с нервами, куда-то ходила что-то узнавать, а глаза жалкие, затравленные, смотреть на нее невозможно. Он же, как только вошли в эту, словно в море, цинковым железом обитую снаружи дверь и увидел он покорную очередь мужчин и женщин вдоль стены, а за стеклянной перегородкой — других, очень занятых мужчин и женщин в белых халатах (они выбегали, вбегали, мелькали, засматривающие в глаза пациентов мешали им заниматься делом), понял: тут надо сидеть и ждать терпеливо.

Изредка являлся санитар, придурковатый малый в солдатской шапке на бритой голове; то ли шапка ему была велика, то ли голова мала. Запахнутый в больничную байковую синюю куртку, заплетая длинными ногами в солдатских незашнурованных ботинках, он как свой входил за перегородку, набирал на руку несколько папок и, усмехаясь слюнявым ртом, уводил за собой в даль бетонного коридора нескольких человек, словно не истории болезни, а судьбы их нес. И там, в переменчивом свете, под снижающимся серым потолком, они спешили за ним, удалялись — покорные души грешников. А вся очередь пересаживалась на стульях, подвигалась, и уже позади Николая Ивановича сидело больше, чем впереди, это почему-то всегда успокаивает.

Вот в этот момент вошел гражданин в шубе, в ондатровой шапке, в больших очках на непроницаемом плоском лице, которое выражало только то, что оно ничего не выражает, будто замок повешен на нем. Не спрашивая, кто последний, прошел он прямо за стеклянную перегородку, взгляды, никого перед собой не различающий. «Товарищ, очередь!» — раздалось вслед, некоторые повскакали с мест, нервы тут у всех напряжены, но его уже вели через другую дверь переодеваться, он и там, перед врачами, не снял шапку. Николай Иванович знал этот взгляд, в поле зрения которого не попадают мелкие предметы: он и сам был из тех, кто не попадал в поле зрения. Но все же странно показалось сейчас: никому здесь не ведомо, кого и куда привезет этот медленно подвигающийся конвейер, а человек мимо всей очереди, не утруждаясь и ответить, спешит первым вступить на него.

Когда переодетого вели Николая Ивановича по переходам, дверь против лифта открылась, пахнуло холодом снаружи, и такой весенний,

сияющий день увидел он отсюда, из бетонного мрака, так вольно там блестело солнце в снеговых лужах... Дверь захлопнулась.

И началась больничная, палатная жизнь. Место его оказалось крайним к окну, туда никто не стремился; зима, дует от стекол. Но отсюда виден был двор, мартовский захламленный снег, березы до полудня в тени. Только после обеда солнце освещало их грязноватые к концу зимы стволы, они розовели, вбирали тепло, и снег вокруг них оседал все глубже. А ночью одна и та же звезда светила сквозь голые ветки, смещалась постепенно за край окна. Николай Иванович садился в кровати, и она возвращалась на место. Долго ему предстояло смотреть на нее.

Когда они с Полиной впервые вошли в эту палату, рядом со свободной койкой лежал покойник: провалившийся рот, из которого вынута вставная челюсть, большая, холодная на вид, желтая ступня просунута сквозь прутья кровати, обтянутый хрящ горбатого носа. И только тяжелое храпение и вздрагивающие глазные яблоки под слипшимися веками подтверждали: жив.

Рядом преданно сидела на стуле седая старушка, ела больничную кашу с тарелки перед собой, как белка из лапок. Сильно пахло мясной подливкой. Увидев испуг Полины, закивала, закивала приветливо:

— Это наркоз. Завтра он будет бегать. Все вот не проснется никак.

И, наклонясь над ним, гладила по лицу, тихонько трепала по щекам:

— Глебушка! Глеб Сергеич!

Он приоткрывал тусклый глаз, силился улыбнуться:

— Туман в голове...

И веко сонно задерживалось.

— Ох, болен он, тяжело болен. — В глазах у нее блеснули слезы, но тут же и улыбнулась сквозь них, чтобы не докучать людям своей бедой. — Вот доедаю вместо него, не пропадать зря. Все бегом, бегом... Ему приготовила, морс сварила, уж не до себя, что ему приносят, поем, — словно бы извинялась она.

Каждое утро она раньше всех проникала в больницу, заглядывала испуганно и, убедясь, что жив, махала на него рукой, чтобы только не ругал ее, и потом в коридоре долго не могла отдышаться. А он методично, с привычкой старого больного застилал кровать, шел умываться.

— Чего, чего прискакала ни свет ни заря? Сон вещей? Когда научу: сообщат! Не звонят тебе, значит — жив.

— Мне, Глебушка, сегодня как раз надо было пораньше к Анне Игнатьевне, пообещала ей, так, думаю, забегу уж по дороге...

— Опять врешь. Зачем? Пила бы сейчас чай не спеша у нас на кухне. Ведь свалишься, ухаживать за тобой некому.

И шел умываться, пришлепывая тапками без задников по зароговым пяткам.

— Ворчун он у меня стал к старости, такой ворчун, — жаловалась она тихонько. — «Пила бы чай не спеша...» А что мне за чай одной на кухне?

И тут же рассказывала очередную какую-нибудь свою историю, все они были похожие у нее:

— Позавчера получаю заказ, смотрю — что-то очень дорого с меня взяли. Принесла домой — икра в заказе, чужой чей-то по ошибке сунули. Так не хотелось идти, набегалась за день, ног под собой не чую. А в результате меня же и осрамили при всех. Две продавщицы в белых халатах такие грубые! Где, говорят, бутылка оливкового масла? Представляете, масло я утаила... Потом заведующую привели, оказывается, оливковое масло совсем в других заказах. Так хоть бы извинились! Вы уж не говорите ему, опять будет меня ругать.

II

Стало известно, что в двухместном боксе напротив выписывают больного. И сразу их палата на восемь коек зашевелилась, заволновалась, тайно друг от друга бегали звонить куда-то, шептались с родственниками, возникли взаимные подозрения. Не впервые видел Николай Иванович, как, по сути дела, немного нужно, чтобы разделить людей. Надо только, чтобы чего-то не хватало на всех, и сразу проступает кто — кто. В войну дело шло о жизни, в мирное время — о ерунде сущей в сравнении с жизнью, но сражались за нее, забыв все.

Сам он не суетился зря: свято место пусто не бывает, кому-то оно уже назначено, а его немногих знакомств на это не хватит. Да и противно совести толкаться, заскакивать раньше других, перед тем же Глебом Сергеевичем совестно.

Глеб Сергеевич, считавшийся ветераном отделения (его так и представляли на обходах: «Это наш ветеран»), тоже ни в чем не изменил привычек и порядка своего дня. В обычный час принес из холодильника еду, сидя на заправленной койке, ел из чашки клюквенный кисель, всыпав туда сухарики, ел потому только, что надо: для него прием пищи мало уже чем отличался от приема лекарств, вкус во рту, говорил он, все той же медной ложки. Он не хуже врачей все знал про свою болезнь и, кажется, имел мужество не обманываться.

А с другой койки безответный Солдатов, лежа поверх одеяла в толстых, овечьей шерсти деревенских носках — у него и в тепле яблчи ноги, — смотрел на все волнения, беготню и суету будто глазами слушал; большие от худобы глаза на сером лице. Его готовили к операции, но все никак не могли поднять гемоглобин. «Ты встань, встань, пройдишь, — приказывала громогласная его жена, принося передачу. — Лежать будешь — вовсе кровь застынет». Он покорно вставал, шаркал тапочками в ее присутствии, пока она здесь, а уходила, опять ложился, серый, слабый, уже и желтизна в лице проступала.

А пока из всех палат бегали, суетились — такое сразу разносится, — пока шли все эти волнения, сестра провела по коридору больного с вещами в тот самый двухместный бокс. И один за другим начали воз-

вращаться в палату претенденты. Вернулся Касвинов, персональный пенсионер, подрабатывавший к пенсии в каком-то солидном учреждении: сидел там в стеклянной будке, выписывал пропуска. Весь этот день проторчал он на лестничной площадке, от телефона-автомата не отходил, а тут вернулся, сел на кровать:

— Безобразие!

И всем стало ясно. И снова установились в палате мир и тишина.

Не раз уже думал Николай Иванович: в жизни на все есть люди, на любые дела, и на хорошие и на плохие, но каждое время выдерживает своих на поверхность. Одно время этих подымет, другое — тех, а они уже готовы, есть. Касвинов и в больнице, где всех беда свела, не равнял себя с другими. Конечно, беда общая, а судьбы разные, каждого ждет свое и свои у каждого надежды, это все так. Но, может быть, эти люди в палате и есть последние люди, с кем суждено жизнь окончить. Ничем они не хуже остальных, больны только. И не лучше ничем: люди.

Осенью сорок первого выходили они из окружения на Смоленщине, двенадцать человек, все из разных частей, до этой поры не знавшие друг друга. И вот эти двенадцать — понял тогда Николай Иванович, почувствовал это — и есть человечество. Не бывает стыдно перед всем человечеством, это пустой звук, а вот перед одним кем-нибудь, двумя... Двенадцать человек, которых вел он из окружения, веривших ему, и были — человечество.

Напряжение дня с беготней и суетой должно было разрядиться. И разрядилось. Солдатов рассказывал, трудно шевеля бескровными губами, как чуть было не засудили его родственника — «брата моей жене» — ни за что, за чужие грехи, и вдруг Касвинов взвился: слез с койки, халат впереди него грозно подперт животом.

— Как смеешь? Ты кто такой рассуждать непочтительно?

Солдатов оробел:

— А что я? Я — как было...

— Как бы-ыло!.. Да кто ты есть перед судом? — Мощный живот вздрагивал. — Понабирались дурацкого духу все разносить, каждый рассуждать берется. А вот если за эти рассуждения да призвать к порядку, а? Суд должен быть окружен ореолом святости!

— Почему — «ты»? Почему вы ему тычете? — Николай Иванович побелел. — Он что, рангом ниже?

И было противно видеть, как Солдатов еще и извинялся испуганно, когда Касвинов вышел охлаждаться в коридор:

— Что я ему? Ничего вроде такого и не сказал, чтобы... А он уж сразу с сердцем... Или обидел чем?

А у Николая Ивановича еще долго дрожали руки, стыдился стакан с водой взять с тумбочки. И ругал себя в душе: зачем связался? Ни к чему это не ведет, ничего этим не изменишь, понятно ведь, что в ком кричало.

Нового больного из двухместного бокса напротив увидал Николай Иванович после вечернего обхода, когда из всех палат, волоча за собой стулья, потянулись больные к телевизору слушать последние известия, рассаживались в холле. На экране, снятые с большой высоты, маленькие в океанском просторе, где волны казались зыбью, плыли к Фолклендским островам английские военные корабли: узкие длинные эсминцы, авианосец со скошенной палубой и белыми, будто игрушечными самолетами на ней. А где-то под этой блестящей рябью, в темных глубинах скрывалась атомная подводная лодка, уже потопившая аргентинский крейсер. Их тоже показали, моряков с потопленного крейсера, спасенных из ледяной воды. Глаза их нездешние, повидавшие гибель, безумные лица родственников, залитые слезами, — и тех, кто встретил, и тех, кто уже не встретит никогда. И Николай Иванович, переживший за время войны и ранения и госпитали, думал, глядя на экран: кто-то миром не договорился — и вот плывут молодые ребята с оружием в руках, а другие такие же молодые ребята ждут их на берегу, и будут стрелять друг в друга, и будут потом их резать, мучить.

Он раздраженно обернулся на голоса, шарканье и шлепанье тапочек по коридору. Два лысых затылка, две старческие спины в полосатых махровых халатах удалялись в глубь коридора, попадая то в тень, то в свет длинных неоновых светильников под потолком. И что-то знакомое почудилось в доносившемся оттуда голосе, в этом пришепetyвании, когда кончик языка длинен.

Тут шумно набежала молодежь к спортивным новостям: в отделении, кроме больных, лежали на обследовании призывники. Времени зря не теряя, они ухаживали за сестрами, поддежуривали по ночам. Николай Иванович выбрался со своим стулом из-под радостного гогота: передавали счет матча ЦСКА — «Спартак», мелькали по льду игроки с клюшками, в блестящих шлемах, как муравьи, вставшие на лапки. Он сел в стороне, ждал.

В полосатом махровом халате — зеленые широкие, белые широкие полосы — не первый день прогуливался по коридору, ни с кем не сближаясь, тот самый гражданин в больших очках, что в приемном покое мимо всей очереди прошел переодеваться. А сейчас такой же махровый халат, но с коричневыми и белыми полосами, тяжело обвисший на худом костяке, двигался с ним рядом. Николай Иванович почувствовал вдруг перебои, страх в груди и пустоту. В мертвом неоновом свете приближался Федоровский. Облезлый, постаревший до неузнаваемости. Но голос сквозь старческое дребезжание был его, голоса не меняются.

— ...Вначале назывались три кандидатуры: Ухин, Мухин и Зятьков. — Дряблые старческие губы от физической немоги складывались брезгливо. — Впрочем, и четвертого называли...

— Те, о ком громко говорят заранее...

— Да, да, да!

— Гейвандов вынырнул в последний момент.

Очки значительно блеснули очкам, общее замкнутое выражение легло на лица — и замолкли, переваривая новость в себе.

Николай Иванович сидел, оглушаемый горячими толчками, пульс захлестывал. Из тени в свет, из тени в свет удалялись полосатые халаты. Еще раз они прошли мимо, обвисшие полы хлестали по белым иссохшим ногам Федоровского.

Ночью светила звезда сквозь голые ветки. Вот так и Таня, быть может, смотрела на нее, мысленно говорила с ним, его винила. Нет Тани. И детей нет. А в двухместном боксе напротив спит человек, из-за которого вся его жизнь лишилась смысла.

У Николая Ивановича на другой день был сердечный приступ. Делали уколы, от атропина сильно сохло во рту. Сквозь сон и явь всякий раз видел: преданно сидит Полина в белом халате. Снег падал беззвучно за окном, потом стекла зеркально потемнели, согнутая спина Полины отражалась в стекле. На склоненной ее голове над вязанием блестели в волосах нити седины. Всю жизнь родные покойники стояли между ним и ею, они приходили во сне, он просыпался от боли в сердце. А Полине хотелось ребенка. Так и состарилась.

III

Ранними утрами, когда разносили градусники, воздух в палате после целой ночи бывал тяжек и густ. Потом начиналось проветривание, беготня по коридорам: последний раз перед сдачей дежурства сестры делали уколы. А от автобуса уже спешили другие врачи и сестры. Николай Иванович видел из окна, как они проходят внизу. Они появлялись свежие с мороза, пахнущие снегом, зимой — с воли, из другого мира.

И уже где-нибудь в уголке сидела к этому времени мать с сыном, словно и ночью не уходила отсюда, она что-то внушала, внушала ему тихим голосом, он слушал покорно. Согнутый болезнью, которая и вырасти ему не дала, с палочкой между колен, маленький, усохший старичок, он казался старше своей матери. «Мне бы здесь лежать, — говорила она, — а ему ко мне приходиться».

Разуверившись во врачах и лекарствах, он выпрашивал больных, надеясь от них узнать что-либо полезное, позаимствовать для себя. Однажды Николай Иванович видел, как он увязался за Федоровским. Они прогуливались мерно, два полосатых халата, обменивались новостями не для широкого распространения: кто планируется, куда, на место кого... Отстраненные от участия, они с тем большей страстью обсуждали. А он жался за выступом стены, поджидал их. Должно быть, этому замученному болями и страхом человеку они казались очень значительными. Дождался, поспешая, похромал рядом, просительно заглядывал

в лица, что-то спросил. Они не прибавили и не убавили шагу, донеслось:

— А он молодцом, правда?

— Молодцом, молодцом...

— Да просто молодец!

И отогнав от себя похвалами, как собачонку приставшую, пошли дальше, беседуя, с государственным выражением лиц. И он отстал, поковылял в палату, опираясь на палочку.

У Николая Ивановича всякий раз холодело сердце, когда издали видел он Федоровского, и все же самый момент встречи пропустил. Он наливал в термос кипяток из титана, задумался, и вот тут послышалось за спиной прохладно-вежливое:

— Простите, кипяток достаточно горяч? А то вчера здесь...

Термос дрогнул в руке, Николай Иванович обварил пальцы.

— Я вообще-то привык пользоваться своим кипяtilьником. Проще и гигиеничней. Да вот вчера что-то замкнуло. Вы, случайно, не специалист в этом вопросе?

Федоровский уже поставил термос под струю кипятка, поднял глаза, взгляделся сквозь сильные очки.

— Ты? — изумился радостно. — Ты тоже здесь? А что? — В глазах живой интерес больного к болезни. — Кто лечащий врач?

Был он с утра небрит, блестела сединой обвисшая кожа. Шалевый воротник халата, старческая, в седом волосе, цыплячья грудь. И весь он по-стариковски неопрятен, какой-то сырный запах исходил от него.

— Ты, конечно, понимаешь, я мог не сюда лечь. — Федоровский провожал его с термосом в руке. Губы дряблые, синюшные; привычно отметилось: цианоз губ. — Не захотел, хотя, конечно, предлагали. Не по мне, не по мне это... Говорят, здесь врачи знающие. Ты как, не слыхал? Меня, во всяком случае, заверили. Это твоя палата? А я вон там, напротив. Заходи...

«Что это, старость? — пытался понять Николай Иванович. — Не помнит, забыл? Или настолько мы все для него ничего не значим, что обрадовался, увидев?»

Как-то в сумерках он очнулся от сильных болей. Полина вязала, согнувшись. Она тотчас глянула на него, душой она каждый миг была с ним, каждое его движение стерегла, но он закрыл глаза и лежал так. Он и с закрытыми глазами видел ее. Все чаще они теперь соединялись в его сознании, Полина и Таня, жалость к обоим соединяла их. А раньше, в начале семейной жизни, да и потом не раз в нем подымалась враждебность, словно Полина не за себя жила на свете, не свою жизнь, а другая, недожитая, досталась ей. И она сумела перетерпеть, понять и простить.

На огромном отдалении Таню теперь он видел девочкой с румянцем волнения на щеках, с жалким, испуганным, растерянным взглядом, а на руках — грудной ребенок, и Митя, трехлетний, прижался, обхватил ее ногу. Волнение старших передалось ему, он держался за мать, крепился, чтоб не заплакать. Такими он их оставил и уже никогда не увидел больше. И никто, ни одна живая душа в целом мире не помнит, не знает про них, как будто и не жили на свете.

Маленького, грудного, он еще не успел как следует ощутить, еще не взял в сердце. И легче младенцу: страха не ведал, не знал, что жил, не сознавал, что отнимают. Но три года Митиной жизни, все это, впервые испытанное, когда из маленького кролика, способного только спать и плакать, выросла осмысленный человек, с которым все уже становилось интересно... И вот нет его, и никому это не больно, нет как не было.

В послевоенной жизни, особенно когда много лет минуло, Николаю Ивановичу не раз говорили: «У тебя была броне — и ты не воспользовался? Но почему?» И еще так говорили: «Тыл во время войны — это тот же передний край». Но и тогда и теперь он знал, если бы не шли сами, не поднялись так, не было бы победы, ничего не было бы. И многих из тех, кто так разумно спрашивает теперь, тоже не было бы на свете. Но не объяснишь, если уже объяснять надо.

Таня с детьми оставалась в тылу, думать не думалось, что и сюда война докатится. Если и боялась Таня, так только за него. Но он все же забежал к Федоровскому взять с него слово. Тот быстро рос перед войной, особенно поднялся в последние четыре предвоенных года. Уже и машина ждала его у подъезда, а тогда это многое значило. И секретарша не пропустила бы к нему так просто, но, на счастье, они сошлись в коридоре, вместе зашли в кабинет. «Я тебя не понимаю, — с долей официального недовольства в голосе, как полагалась в официальном месте, говорил Федоровский, заведя его к себе, но не садясь, не давая примера садиться. — Ты что, действительно допускаешь возможность, ты мысль такую мог допустить, что враг придет сюда? Ты знаешь, как называются подобные настроения?»

Под рукой на маленьком столике телефонные аппараты, сам Федоровский — в полувоенном, в гимнастерке без знаков различия, в хромовых сапогах, и вот так стоя во весь свой немалый рост, скорбно качал головою, не одобряя, не имея права одобрять подобные настроения, но уже и улыбался сквозь строгость, улыбкой прощал момент малодушия: «Одно тебя извиняет: на фронт идешь».

Не раз потом вспоминалось Николаю Ивановичу все это, и «настроения», и полувоенный его костюм — дань времени, а машина стояла у подъезда наготове, и когда фронт придвинулся, в ней Федоровский и укатил.

Теперь забыты многие слова и то, что они означали для человека, не в каждом словаре найдешь слово «лишенец». Родители Федоровского

были лишенцы. Держали они какую-то небольшую торговлишку в период нэпа и в дальнейшем, причисленные за это к эксплуататорским классам, были лишены избирательных и прочих гражданских прав. Если бы не отец Николая Ивановича, который в своей жизни многим людям помог, что ему и припомнили в дальнейшем, невеселое будущее ожидало Федоровского. Человек старых понятий, участник революции еще девяносто пятого года, отец говорил: «Способный юноша, зачем его лишать чего-то? Зачем самим лишаться? Страна не должна лишаться толковых людей». И Федоровского приняли на рабфак, и способный юноша, вначале приниженный, за все благодаривший, стал выправляться, расти, как придавленный росток из-под камня.

Из таких, кто всего был лишен, пережил страх, а потом допущен, приближен, из них во все времена выходили самые непреклонные служаки, которые не помнят ни отца, ни мать, служат ревностно не идее, а силе. Они если и там оказывались, по ту сторону фронта, то и там точно так же служили силе, становились первыми ревнителями порядка.

По всем человеческим понятиям Николай Иванович считал, что уж с такой просьбой — предупредить Таню, если станет опасно, не в машину взять с собой, предупредить только, чтобы она смогла вовремя эвакуироваться с детьми, — о таком пустяке мог он попросить. Тем более что он уходил на фронт, а Федоровский оставался. «Вот тебе мое слово, — выходя из-за стола с телефонами, одновременно хмурясь, но и прощая, уже наученный этой игре, сладость испытывая от нее, говорил Федоровский. — Не должен бы я поддерживать такие настроения, но ты уходишь, тревогу твою понять можно. Вот тебе мое слово и вот тебе моя рука!»

Глупые старые представления о долге, о благодарности. От людей, помнящих, кем ты был, знающих твое прошлое, от таких людей избавляются, а не долги им отдают. Но поздно это узнается, самое главное всегда узнается задним числом. Да и семья их жила другими понятиями. Ему бы сказать Тане: «Станет опасно — решай сама, не жди». Но он хотел как лучше, а Таня привыкла его слушать, он старше, умней. И ждала до последнего. Верила.

После войны разыскал он Федоровского уже в Москве, и кабинет был значительней, и телефонов побольше под рукой. «Я не имел права, как вы все простых вещей не понимаете? — с превосходством человека, обрешшего себя в жертву долгу, возвысился над ним Федоровский. — Я — Тане, Таня — подруге, соседке, та — еще соседке. Вот так и возникает элемент паники...» В кабинет уже входили почтительные, прилично одетые люди с папками для доклада, похожие друг на друга. Все они смотрели неодобрительно, тут повышать голос, громко разговаривать не полагалось. «Но тебя машина ждала внизу!» Только это и сказал. И еще обложил напоследок. И потом долго жгло, что ничего не сделал, проклятое это интеллигентское, с детства ввевшееся в кровь, не дало переступить. А что можно сделать, разве изменишь?

Слышал Николай Иванович отдаленно, да что ему до этого, что в послевоенные годы пошел Федоровский по службе не вверх, а вниз. Не за грехи — должно быть, пришло время менять коней или кто-то более подходящий, более ловкий пересел его. И вот — не у дел, никому не нужный, дряхлый — докатился до этой больницы: «Ты, конечно, понимаешь, я мог лечь не сюда...»

А как радостно хозяйничала Таня в недолгой их семейной жизни! Отчего-то больнее всего было вспоминать мелочи. Однажды принес он с базара парное мясо. Таня послала его за картошкой, а там, на базаре, у самых ворот местные художники выставили свои картинки: дама в длинном, до носков туфель лиловом шелковом платье складками, дама в шляпке на коне, и свисают складки шелкового платья, рука привычно выводила их. Продавались эти фанерки, написанные маслом, по пять, десять рублей, в зависимости от размера. А если дама на коне, то и за пятнадцать. И вот один художник продал и тут же купил мяса, и все остальные художники, перемерзшие, шмыгающие мокрыми носами, сошлись и смотрели на это сырое мясо в его руках, трогали, обсуждали: так им хотелось погреться!

Николай Иванович, хоть деньги в ту пору у них были считанные, от получки до получки еле дотягивали, решил радостно: «Порадую Таню, чего там!..» Таня одолжила у хозяйки, у тети Паши, мясорубку, нажарила целую чугунную сковороду котлет, на запах всунул к ним в дверь хозяйский внук, и они усадили его с собой, с двух рук кормили и умилялись.

В ту пору они снимали комнату у тети Паши, угол, выгороженный печью и фанерной перегородкой. Покрашена фанера была казенной голубой масляной краской, дверь тоже фанерная, вздрагивающая от толчков воздуха, они закрывали ее на проволочный крючок. Ни одной вещи своей, все хозяйское: стол, стул, диван с двумя валиками и спинкой. Его они перетаскивали от фанерной стены к печке. Но Таня уже вила гнездо, начинала вить: какую-то скатерочку вышила, покрыву сшила парусиновую на диван, засалившийся и протертый; выстирает ее, выгладит, чистая парусина блестит из-под утюга. Зимой после метели подвалит снаружи снегу вполстекла, свет в комнате белый, они проснутся в воскресенье рано утром и шепчутся. Они ждали уже ребенка, Митю.

Таня, милая, отчего во сне приходишь всегда безмолвная, одна, без детей, смотришь с укором?

IV

Ему сделали операцию, и в один из дней, слабый, сам себе не веря, что опять может ходить, Николай Иванович подошел к окну, трудно одолел эту дорогу. За какие-то полторы недели мир переменялся неузнаваемо. Снега почти уже не было, деревья стояли в пенистой снеговой воде, блестел на дороге наезженный грязный лед весь в лужах, и по

этому льду, спрягшись вместе, оскользаясь, четверо молодых врачей во-
локом бегом тащили чугунную ржавую ванну куда-то в край двора. Сле-
дом за ними две медсестры прокатали каталку с узлами грязного белья.
Колеса выворачивались на льду, узлы падали сверху, сестры, смеясь, под-
хватывали их, и Николай Иванович, сам того не замечая, улыбался им
вслед бледной улыбкой. Он стоял, держась за подоконник; всего лишь
от палаты до окна в коридоре дошел, а губы обморочно немеют. Но
странная ясность была перед глазами, словно заново увидал мир. Или та-
кие стекла чисто промытые?

Когда сестры катили обратно пустую каталку, первой шла Надя, ры-
жеватые волосы ее светились на солнце. Николай Иванович покивал за
стеклом — жив, мол, жив! — и она снизу махнула ему, весело вскинула
руку, как спортсменка, всходя на помост; должно быть, кто-то смотрел
на нее, для кого и шла она такая весенняя в белом своем халатике.

Двор больницы, как бывает ранней весной, казался захламленным.
Все прошлые грехи обнажились, все, что зимой выкидывали, а снег за-
сыпал следом, теперь вытаивало из-под снега; и расколотая фаянсовая
раковина, и клоки будто ржавой ваты, напитавшейся водой, и какие-то
ящики валялись, ботинки, доски, банки, и совсем целая, вмерзшая в лед
батарея парового отопления; можно было определить по цвету ее салат-
ному, что она с четвертого этажа: там стены салатные. На суке березы
ветер полоскал мокрый бинт. И всюду среди деревьев бродили по двору
санитарки, врачи, сестры с граблями, лопатами, сгребали мусор в кучи.

В отделении тоже все чистилось, мылось в этот субботний день.
С треском разрывая пожелтевшую бумагу, которой с осени были закле-
ены окна, распахивали рамы, повсюду гуляли сквозняки, только лежа-
чие больные остались в палатах, укрытые чуть ли не с головой, ходячих
всех выпроводили в коридор, и они толпились неприкаянно, как бежен-
цы. Подпоясанный бинтом поверх байкового халата, горбатенький, се-
менил с палочкой Юшков, словно нищий странник: его недавно переве-
ли в их палату. Подошел, стал рядом с Николаем Ивановичем, тоже
смотрел, как внизу тащат в металлолом чугунную ванну: теперь ее воло-
кли обратно к подъезду. Молодые врачи весело делали бессмысленную
работу, а грузовик стоял на дороге, ждал, дверца распахнута, разомлев-
ший на раннем весеннем солнце шофер курит. Он только тогда и вы-
шел глянуть, когда ванну грузили в кузов, скрежеща по железу, рук не
пачкал, команды подавал.

— Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, — желчно сказал
Юшков и забегал по коридору.

Опустив очки со лба, Федоровский пристально глянул ему вслед,
как сфотографировал мгновенно. До этого он читал внимательно соц-
обязательства в рамке под стеклом, вывешенные в простенке: «Постоян-
но повышать... Активно участвовать... Отработать безвозмездно...» По-
следним пунктом значилось: «Осваивать новые методы лечения и обсле-
дования больных — IV квартал». Давно они тут висели, не было, навер-

ное, ни одного больного, который хоть раз со скуки не прочел бы их. Федоровский, наклонясь из-за высокого роста — полы халата разошлись, — ползал носом по стеклу, придерживая очки над бровями, вникал.

— И заметьте, — побегав по коридору из конца в конец, Юшков вернулся, — заметьте, какое у нас у всех стремление в начальники. — Вот он — шофер. Шофер самосвала всего лишь. Но он — министр. Врачи грузят, он стоит. Помочь — ниже его достоинства. Нет, равных отношений мы не понимаем. Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак.

Федоровский все так же стоял перед сообразительностями, но уши напряглись.

Наконец ванну взгромоздили. Раздавив двойными колесами банку из-под краски, грузовик отъехал, и лужа, куда отбросило сплюснутую жесь, начала окрашиваться, будто кровь вытекала в нее. Сейчас же у края лужи присел малыш в синем, ярком на солнце комбинезоне, в меховых сапожках. Он палкой возил по воде, мать, невнимательно держа его одной рукой за шарф, беззвучно говорила с кем-то на верхнем этаже, подняв лицо. А Николай Иванович смотрел на малыша. Он все же ослабел после операции, сильно ослабел: смотрел, как малыш возит палкой в воде, а глазам горячо становилось.

Отвлекся он, когда по коридору провели к выходу приятеля Федоровского, с которым тот обычно прогуливался по вечерам. Укутанного в два халата, на голове ондатровая шапка, вели его спешно, мелькнуло испуганное лицо в больших очках. Федоровский обождал и взглядом значительным пригласил посмотреть след, стеклянные двери на двойных петлях еще махали, успокаиваясь.

— Неважные дела его, как выясняется. В третью клинику возят на обследования, а в чем дело, выяснить не могут. Это плохой знак.

Но тут по лестнице затопало множество ног: пустили родственников. Николай Иванович вышел на площадку встретить Полину, показать, что вот вышел сам.

С кошелками, свертками родственники подымались снизу, выражения лиц радостные, что пустили, а у многих заранее тревога: что там ждет? И среди них увидел Полину раньше, чем она увидела его. Вся наклоненная вперед, чтобы легче подыматься по ступеням, она спешила, немолодая, никому уже, кроме него, не нужная в жизни. И тут она увидела его, лицо дрогнуло испуганно:

— Ты? Зачем же ты вышел?

— Вот заново учусь ходить.

Мимо них проходили родственники (кто с надеждой, кто с бедой) и к ним в отделение, и выше по лестнице. И они постеснялись поцеловаться. Он вообще последнее время немного стеснялся ее: он уже настроился на худшее, она с ним вместе пережила это, а получилось — вроде как бы смалодушничал он раньше времени.

После всех ранений он был как та изношенная машина, которую лучше не трогать, пока она еще ходит сама. Тронул — и окажется, что

ни одна часть в ней уже не годна, каждую пора заменить, но в человеке не все заменяется.

— Пойдем в столовую, у нас в палате окна моют,— сказал он, по привычке пытаясь взять кошелку у нее из рук.

Она не позволила.

За пластиковыми столами, которые вытирают мокрой тряпкой, уже сидели парами, говорили тихо, распаковывали передачи: больничные свидания. Они тоже сели друг против друга.

— Здравствуй,— сказала Полина, освещая его лицо грустным и счастливым взглядом своих глаз. Выцветшие, они снова были сейчас синие.— Дай отдышусь, сердце никуда...

— А зачем спешишь? Правильно Глеб Сергеевич говорит: сообщат. Не звонят — значит, хорошо все.

— Разве я спешу? Ноги сами спешат. Пока в метро едешь, пока в автобусе... А уж от автобуса... Такой он долгий, путь этот, кажется!.. Ну вот, отдышалась.— И начала выгружать кошелки.— Кто сегодня на кухне дежурит? Пойду разогрею. С цветной капустой сварила, ты любишь. Я сегодня и Глебу Сергеевичу тоже принесла, на вас двоих. Ему как-то сказать надо, чтоб не разволновать: у Фаины Евсеевны давление подскочило, просила меня. Мы с ней телефонами обменялись. Знаешь, когда беда общая...

— Посиди,— сказал он.

Полина взглянула на него несмело. Последнее время он все хмурился, как чужой.

— Я лучше разогрею, а когда ты будешь есть, я и посижу.

— Успеешь. Не спеши.

Рука ее лежала на столе. И подчиняясь внезапному чувству, он положил на нее свою ладонь. У Полины благодарно повлажнели глаза. Так они сидели некоторое время. Гордый сокол воспарял над ними на стене. Его держал на ватном рукаве халата охотник в рыжей лисьей шапке. Давно он так его держал: кто-то из больных в благодарность за исцеление написал маслом на холсте скуластого охотника в полосатом халате и сокола на рукаве, и теперь все это, снабженное жестяным инвентарным номером, числилось как больничное имущество.

— Пойду,— сказала Полина и улыбнулась ему. И понесла на кухню банку с супом и ковшик эмалированный, а он смотрел ей вслед.

Когда получен был анализ после операции — посылали куда-то, долго ждали ответа,— Полина пришла в палату, села на краешек кровати, сидела так и гладила его по небритому лицу. «Одну меня хотел оставить? Уйти думал один? — И, наклонясь, крепко поцеловала в губы. — Это чтоб ты мне верил: хороший анализ». А глаза из самой души светились. За эту его болезнь вся ее жизнь сюда перешла: сидит рядом с ним, вяжет допоздна.

Вечером в палате голо блестели вымытые стекла окон, голо стало после уборки: пыльные занавеси сняли, чистые повесить не успели.

И вся палата отражалась в этих черных зеркалах: те же два ряда коек, желтый свет электричества с потолка, белые двери — все это там, за окном. То и дело резко раскрывались двери — дежурила Галя, яркая, гвардейского роста сутуловатая девица, с широким кольцом на безымянном пальце. Было известно, что она уже приискала себе место лаборантки где-то в солидном институте, подала заявление об уходе, но полагалось две недели отработать, и вот она швыряла дверьми, вымещала на больных. Касвинов после ее укола лежал с грелкой, ворчал старушечьим голосом:

— А вот на ту бы на работу ее сообщить... Написать... Раньше за такое судили. Как это — захотела и ушла? А если она здесь нужна!.. Так это каждый захочет.

— Совесть судом воспитывать? Интересно!

Глеб Сергеевич лежал во весь свой огромный рост, до губ натягивал одеяло. Обычно он в разговоры не вступал, слушал пренебрежительно: ничего от разговоров никогда не меняется. Скажет только: «А может, так надо?» Или: «А может, человеку так хочется?» Но сегодня он чувствовал себя плохо, после нескольких дней улучшения и засветившей было надежды у него опять по вечерам подымалась температура. И то, что жена сегодня не могла прийти — Полина сказала об этом робко, всячески смягчая, — принял спокойно: «Допрыгалась».

— Нет, совесть судом не воспитаешь, — сказал он. — Надя работает, а эта швыряет. А честь одна. И зарплата одинаковая.

— Как это — захотела и ушла? — не мог успокоиться Касвинов. — Как это? Вот прежде...

— От прежде-то все и пошло. Таких воспитали, — не повышал голоса Глеб Сергеевич, но слушали его. — Нет, лишняя это обуза для человека, совесть, по нынешним временам. Вот я к такому выводу пришел. Сколько было у меня начальников — один только за все время не требовал себе неположного. А остальные — как личное оскорбление, знать ничего не желают. Чего стыдились всегда, тем гордятся. И уж дошли до того, что хвалимся: не ворую — значит, честный человек.

Солдатов закивал с сердцем. Но тут с крайней койки, и про грелку забыв, поднялся Касвинов, не попадая, нервно продевал руки в рукава халата. Свой протест он только этим и мог выразить — не присутствовать. И вышел.

— Мне что, — вслед ему сказал Глеб Сергеевич, — я пенсионер. Два месяца в году имею право работать, а больше мне и не надо. Не я набираюсь, меня зовут.

Как многие фронтовики, Николай Иванович делил людей просто: что ты делал во время войны, где был? А если на фронте, так тоже — где? Жизнь солдата на передовой и где-нибудь при тыловом штабе — это две разные войны. Когда его ранило первый раз и ночью вытащили с поля боя — только ночью и удалось вытащить из-под пулеметного огня, а уже шинель вмерзла в лед, уже обессилел, не надеялся — и

потом трясли по лежневке с бревна на бревно, вытрясая сознание, а в медсанбате, в теплой избе (после холода окопного, крошечной тьмы) — свет электрический от аккумуляторной батареи, и за дощатой переборкой лают писаря, старший писарь грозит: «Все вам рис жрать с мясными консервами да гречку! Вот посажу вас на пшенку, как на передовой, и сам сяду на нее для примера...» — и все это, пока его резали на столе, осколки доставали.

Глеб Сергеевич во время войны был начфином дивизии. Его фронт — деньги выдавать и обратно принимать их в фонд обороны. Рассказывал он вещи диковинные, какие Николай Иванович и представить себе не мог: как с фронта отправил в посылке бутылку водки отцу в Москву (он своих положенных ста граммов не пил) и бутылка эта дошла; как отец, хорошо упаковав, прислал ему на фронт стекло для керосиновой лампы, чтобы светлей было писать ведомости, и стекло дошло целое... Вот такая неслыханная для солдата война. Но сейчас близок ему по душе этот человек и интересен, ближе всех в палате.

В дверь с мокрой тряпкой на щетке вошла Фоминична, санитарка, повозила тряпкой у порога, что-то подтирая. Одна рука ее в резиновой перчатке, сквозь желтую резину виден окровавленный бинт. Сегодня во время этой генеральной уборки Фоминична так глубоко рассадилась руку стеклом, что самой страшно было глянуть. Ей обработали рану, засыпали чем-то, завязали, и она осталась дежурить, топчется на кривых старых ногах, обутых в бумазейные тапочки.

— Чего домой не ушла? — громко со своей койки крикнул Глеб Сергеевич.

Глуховатая Фоминична — расслышала, не расслышала — махнула на него мокрой рукой:

— Молчи!

— Вот оно, вымирающее племя, — с дрожью от озноба говорил Глеб Сергеевич: у него температура шла вверх. — Ей уже лет сто небось, она так привыкла, по-другому не может. Эти перемрут — вовсе работать станет некому. Я двух сынов своих учил жить по совести. Вот и хлебают за это через край.

— А все же учили, — сказал Николай Иванович.

— Учил.

— Почему?

— Дурак потому что.

— И опять бы учили.

Глеб Сергеевич не ответил. Да и не словами на это отвечают, всей жизнью. И всякий раз — заново. Но вот самая поразительная загадка: из века в век, из поколения в поколение находятся люди, которые обрекают себя на жизнь трудную, не почетную. Если бы себя только, а то и детей своих. Почему? Зачем? «Потому что дурак». Но мир стоит на них, на тех, кто поддерживает в душах этот огонь негасимый, не дает ему угас-

нуть. В одни времена, когда гибель грозит всем, вспыхивает он ярко, в другие тлеет, едва теплится, но угасни совсем — и окунется жизнь в холод и мрак.

V

Теперь Федоровский один прохаживался по вечерам в обвисшем полосатом халате, из-под него мелькали белые худые ноги в шлепанцах. Бредет, уныло уставясь в свои очки на кончике носа, увидит Николая Ивановича — набрасывается всякий раз с жадностью. Напарник его совсем не показывался из палаты.

— Плохи его дела, — качал головой Федоровский с невольным превосходством человека, сумевшего выйти из беды. — Молодой мужчина, пятьдесят с небольшим. Мне — восьмой десяток.

В конце коридора горела на посту настольная лампа, медсестра, как в соты, раскладывала лекарства в отделения белого ящичка, приготавлилась разносить больным. Молодой негр в подпоясанном коротком алом атласном халате, как боксер с ринга, говорил ей что-то, открывая светлый в глубине рот, и улыбался, и она улыбалась, клонила к настольному стеклу светлую челочку и оттуда, от своего отражения, взглядывала на него. Обходя вытянутые из кресла глянцевые черные ноги в спортивных белых туфлях, Федоровский покосился, молчал, пока отошли достаточно.

— Средняя дочь у меня в Чаде. За дипломатом замужем. Не лучшее место на земле. — Он прихмурился официально. — Мы себе лучших мест не выбираем. И детей воспитал так.

За то время, что Николай Иванович лежал в палате после операции, сильно сменился состав больных в отделении, все больше попадались незнакомые лица. Но так же, как и тогда, у дверей на площадку, у стеклянных этих дверей, сквозь которые в часы свиданий радостно устремляются родственники, стояла женщина пожилая с горестным лицом, упрасивала врача, наверное, просила разрешения остаться на ночь. Он непреклонно качал белой шапочкой, загораживал дверь собой, лицо женщины было за стеклом, а на стекле, на лице ее — отражение голубого экрана телевизора, быстро сменяющиеся кадры милицейской погони. Это больные в холле досматривали детектив, кто-то глуховатый, не поспевая мыслью, переспрашивал громко, и врач тоже отвлекался, обращившись на частые выстрелы.

Тем временем Федоровский, опустив отягченный очками худой нос, бубнил свое:

— Старшая дочь тоже на ответственной работе. В министерстве. Ей доверяют. Самые положительные отзывы. Младшая — аспирантка. Прекрасные отзывы. Могу сказать, жизнь мы прожили не даром. Не зря. Есть что вспомнить. К тебе на днях что, внучонка приводили?

Николаю Ивановичу в виски ударило.

— Симпатун! У меня пятеро. Да вот все девчонки. Жена девок ро-

жала, и зятя попались бракоделы. Но ничего, есть и в этом своя приятность.

В холле народу было уже много, за спинками стульев — сплошь стриженные затылки призывников. Когда прошли мимо, Федоровский сказал, презрительно поджимая дряблые губы:

— Мы в армию шли добровольно. Родину защищать. А эти... Нет, уходить из жизни — я всегда говорил и сейчас это скажу, — уходить из жизни надо со своим поколением. Дожили до того, что здоровые парни на обследование ложатся, чтобы не исполнить свой гражданский долг. Нет, с такими бы я в разведку не пошел.

— Ты — в разведку? — не сдержался Николай Иванович.

— Фигурально выражаясь...

— Ты в кино видел, как люди в разведку ходят.

И само прорвалось то, что давно копилось:

— Скажи, только не ври, правду скажи: ты тогда забыл предупредить Таню? Ничего уже не изменишь, но скажи: забыл? не мог?

— Опять ты за свое! Ведь объяснено было внятно. Удивительный все-таки у нас народ, когда столкнешься вот так, всякий раз поражаюсь. Война была, каждый что-то терял. Нет такой семьи... Не понимаю, как можно столько времени копить зло? Уже население планеты сменилось, люди мечтают забыть.

Не хотел Николай Иванович этого разговора, но каждый день нос к носу в коридоре, все время чувствовать — этот человек рядом. И проговаривалось, проговаривалось в себе самом.

— Из-за тебя они погибли, можешь ты это понять? Из-за тебя.

— Не вешай на меня, пожалуйста. Я не гвоздь, чтоб вешать что пошло.

— Таня чувствовала, ее страх гнал: детей спасти. А я еще уговаривал: «Ты видела беженцев? Куда ты пойдешь с детьми на руках? Он обещал...» Поверил, дурак, на фронт шел с легкой душой. Тебе стоило всего только пальцем шевельнуть, слово сказать.

Федоровский взялся руками за печень.

— Нет, это становится невозможно. Тут боль такая, хожу, боль выхаживаю, а тут еще приходится выслушивать. Не имел я права разглашать, не имел!

— Но ты мне руку жал: «Иди спокойно, ни о чем не думай...»

— Как вы все не хотите понять: есть долг, который превыше нас. У меня сестра осталась в оккупации. Двоюродная. Украсило это мою автобиографию? При тех анкетах, которые я заполнял... Да, приходилось жертвовать, каждый жертвовал. Судьба страны решалась.

— Но тебя машина ждала внизу! Слушай... — Николай Иванович смотрел на него. Нет, это не старость сделала его ничтожным, ничтожным он всегда был. Но властные манеры, магия должности. — Посмотри на себя, у тебя вон уже губы черные. Скоро нам умирать...

— Почему это мне скоро умирать? Я еще пока ничего такого в себе не чувствую. Или ты что-то слышал от врачей? Тебе известно стало?

— Неужели за всю жизнь совесть не сказала тебе? Или много таких было, как Таня? Ночами не снятся, через кого ты в жизни переступал?

— Эй, старичье! — раздалось от телевизора, и несколько стриженных голов обернулось. — Разбухтелись пенсионеры, как две бабки, не слышно из-за вас ни черта.

— Доктор! — простонал Федоровский, увидев врача и устремляясь за ним. — Доктор, час назад мне должны были сделать укол. Что ж это такое? Почему больной сам напоминает? У меня боли. Я вновь чувствую боль.

VI

Ночь была беспокойной. Он засыпал, просыпался, слышал беготню, голоса в коридоре. И даже во сне продолжал бесконечный этот разговор. Господи, с кем! Что, он достучаться хотел? Не во что стучать там, отмерло давно, если и было. И не с кого спросить. Но зачем, кому нужны были еще и эти жертвы? Что они, приблизили конец войны? В том-то и дело — никому и не за чем. И ни в какой счет это не заносится.

Если бы мог верить он, что где-то в неведомом мире встречаются вновь, если бы в это верилось, несколько легче с таким сознанием и жить и умирать. Но он прошел фронт. Нет, не встают из той крови, в которую втоптывала война. Не встают и не возрождаются.

— Сестра! Сестра-а! — давно уже неслось из-за дверей, и стонущий голос этот был голосом Федоровского.

Николай Иванович лег головой на простыню, плоскую перовую подушку положил на ухо, чтобы не слышать. Хотелось заснуть.

В последнее время он стал забывать имена, фамилии: смотрит на человека, знает, кто он, а как зовут, не может вспомнить, выскочило из памяти. Но стихи, давно забытые, сами возникали и говорили за него. «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить...» Знать бы, что смерть их была легкой.

Стоны то стихали, то раздавались громче:

— Сестра! Сестра-а!

Хоть бы в палате услышал кто-нибудь, пошел позвать. Но все спали или притихли, будто спят.

— Сестра-а-а!

Николай Иванович спустил ноги с кровати, долго сидел так. Потом надел халат, вышел в коридор. Дежурный врач спешил мимо в шлепающих на ногах сандалиях.

— Валентин Алексеевич, из того бокса сестру зовут. Давно уже.

Врач блеснул круглыми очками, в них — увеличенные стеклами, будто испуганные глаза. И побежал дальше, в восемьдесят третью.

Сам себе не мог объяснить Николай Иванович, зачем стоит здесь. Он ненавидел этого человека, а знал, что такие люди никогда не меняются, но вот стоит ради него просителем в коридоре.

— Надя, — виновато позвал он медсестру. Он всегда любовался милым, строгим ее лицом. — Надюша, там этот... Федоровский... Давно уж кричит. Наверное, боли сильные.

Со шприцем в руке Надя глянула на него досадливо.

— Кому плохо, тот не кричит на всю больницу. Это кто сильно жалеть себя привык.

И пробежала в восемьдесят третью палату, откуда уже выглядывал врач в очках.

Утром Глеб Сергеевич, раньше всех ходивший умыться, принес известие: из восемьдесят третьей выставили кровать в коридор.

— Может, новенького поместили? — забеспокоился Касвинов. Этот сразу впадал в панику, если видел из окна, что сестры — одна спереди, другая сзади — провозят каталку через парк всегда одной и той же дорогой, а на каталке, укрытое простыней или серым одеялом, вытянутое тело. — Ночью поступил кто-нибудь по «скорой», спит...

Глеб Сергеевич расправил полотенце на спинке кровати, взбил подушку, лег.

— Когда с головой накрывают, это уже не спит.

И все больные в это утро, проходя, опасно косились на вынесенную в коридор кровать, стихали разговоры вблизи нее. Там плоско лежало одеяло до середины подушки, словно под ним ничего не было, и только чуть провисала сетка внизу. И из двух резиновых трубок, с ребра кровати спущенных в целлофановый мешок с кровавой жидкостью, уже не капало.

Маленький и легкий, иссушенный болезнью, тихо умер этой ночью тот самый молодой старичок, что ходил здесь с палочкой, засматривал больным в глаза, однажды осмелился увязаться за Федоровским, но был отогнан.

Николай Иванович видел вернувшихся со двора Надю и другую медсестру, с челочкой, они быстро прокатали пустую каталку. Надя, словно став выше ростом, стягивала, как кожу с рук, прозрачные щелкающие резиновые перчатки, а на кровати в коридоре было уже откиннутое одеяло. Почему-то так: за живым до последней минуты ухаживала не беззвучно, мертвого касалась уже в перчатках.

Перед самым обедом — это все сразу увидели — пришла в отделение мать. Врач, уже другой, не тот, кого она упрашивала вечером из-за стеклянных дверей, но в такой же белой шапочке, что-то говорил ей, руки опустив в карманы халата, совершался горестный обряд. Сестра подала справку, узелок с вещами, палку с резиновым наконечником и стертой его рукою, дочерна отполированной рукояткой. Женщина взяла все это, постояла в растерянности, словно еще чего-то ждала, но

все было кончено. Она ушла, а сын ее оставался еще здесь, в холоде, в море.

В пятницу выписывали Федоровского. Для выписки это самый лучший день: впереди два выходных, семья дома; а в больнице суббота и воскресенье пустые дни. Лежа в палате, Николай Иванович слышал громкие, четкие ответы врачу.

— Не жалуюсь... Болей не ощущаю... Сплю хорошо...

Громко раздавался на этаже голос Федоровского. Потом, одетый, зашел в палату проститься. Услышав за дверью его шаги, Николай Иванович закрыл глаза.

— Что, спит?

— Спит, — сказал Глеб Сергеевич. Ему ничего объяснять не требовалось, и сам он никогда не любопытствовал. Но это он сказал про Федоровского: «Вот человек, у кого нет камня на душе. Камни у него из мочевого пузыря выходят».

— Жаль, что спит. Жаль. Ну что ж, передайте — заходил. Непременно передайте: хотел проститься. Ну что же, товарищи, желаю выздоравливать. Надеюсь, так и будет. Мне восьмой десяток, а ухожу, как видите, на своих ногах.

VII

Странный сон приснился Николаю Ивановичу. Будто они поменяли свою квартиру на три огромные комнаты в общей квартире. И какое-то все здесь теплее, лифт, который медленно тянул вверх, разломан, вместо стен — фанерные листы до половины, они упирались краями в спину под лопатки, а над головой — открывая тьма шахты, в ней теряются подрагивающие от напряжения масляные стальные тросы.

Вдвоем с Полиной они ходят по этим комнатам в гулкой пустоте. Закопченные потолки, вздутые в углах, отставшие обои. А Полина счастлива. «Зачем ей? — думает он. — Для чего одной эти комнаты?» Он опять чувствует боль, настойчивую, ту самую знакомую боль, которая жила в нем до операции. И с этой болью проснулся. Лежал, прислушиваясь к себе. Боли не было. Но какой странный сон.

А среди дня, когда забылось, вдруг снова в том же месте почувствовал боль, тревожную, тянущую. И день померк. Вновь это стало содержанием жизни: что бы ни делал, с кем бы ни разговаривал, он прислушивался к себе. Временами боль исчезала, и светлело, появлялась надежда, а потом — вновь, уже больней, резче. И он постоянно ощущал ее во сне. По войне еще, по госпиталям он знал: и болезнь, и близкая смерть раньше всего о себе во сне скажут, когда человек ничем не отвлечен.

— Что ты опять такой мрачный? — спрашивала Полина и вглядывалась в него тревожно.

Он решил поговорить с лечащим врачом. Тогда, после операции, сказали, что вторая почка не затронута, многое еще говорилось, а глав-

ным было то, чего ему не сказали. Он выбрал день, когда тот дежурил. После вечернего обхода заглянул в ординаторскую (врач пил чай с домашним бутербродом), извинившись, попросил разрешения позвонить и, набирая номер, спросил как бы между прочим:

— Наверное, меня пора уже выписывать? А то лежу здесь, место занимаю. Сам помню, сколько этого места ждал. По правде сказать, когда ложился, не надеялся, а сейчас, — он вздернул плечи, худы они были, он знал, но показывал, что сила прибыла, есть, — вы мне жизнь вернули.

Врач, приподняв стекло на столе, начал перекладывать бумажки, менять их местами, нашел занятие рукам. И глазам дело нашлось, мог не смотреть.

— Выписывать? Да, мы как раз тоже говорили об этом с вашей женой... Вот сделаем еще несколько анализов...

Бреясь на другой день, Николай Иванович внимательно вглядывался в себя. Ощупал пальцами худые скулы. Впервые увидел ясно: серое, мертвое лицо. И в пальцах, которыми он трогал скулы, не было жизни. Только глаза одни живы на лице.

Он смотрел на себя без жалости. Долгая вторая жизнь была подарена ему после войны, он это всегда сознавал. А столько его сверстников этой жизни не увидели!

Они уходили просто. В Австрии вызвал комбат к себе в землянку троих, а потом они вышли оттуда и каждому, кто стоял в траншее, молча и строго пожали руку. У самого младшего — он последним шел — застыла на губах бледная отрешенная улыбка. Приказано им было уничтожить дот, подползти и забросать гранатами, а перед ним — выметенное пулеметным огнем ровное поле, и из амбразуры, из тьмы глядит оттуда пулемет, и уже лежат на поле те, кто раньше пытался подползти. И вот запомнились не лица даже, а эта отрешенная улыбка и то, как, уходя, они всем подряд пожали руки, знакомым и незнакомым — тем, кто оставался жить. Долго еще его рука чувствовала это.

Он и себя вспоминал молодым, той поры. Вдруг возникало ясно: бетонный взорванный мост над рекой, торчащие из бетона прутья арматуры. И как по этим мокрым прутьям, повиснув на руках и перехватываясь, они с автоматами за спинами перебрались на тот берег в сплошном тумане, бесшумно. И бой на том берегу. Было это гордое чувство, не мог, не должен был он перед ребятами, перед своим взводом оплошать, быть хуже других ни в жизни своей, ни в смерти. И как бы ни складывалось дальше, главное дело свое они сделали. И оставили завет.

Был ранний вечер. По телевизору показывали давнишнюю комедию, но все потянулись смотреть, и в палате один Касвинов ворочался в углу на своей койке, сеткой скрипел. Потом и он встал, надел халат, отворачиваясь, а когда шел к двери, сзади отвисала седая сальная косица. Редкие свои волосы он зачесывал от уха на лысину, и эта слипшаяся ко-

сица вечно болталась на шее. Вот и дети у него есть и внуки, а что-то никто его не навещает, жалкая, одинокая старость, если вот так посмотреть. И в палате он не прижился, и жена от силы раз в неделю принесет чего-нибудь магазинного — баночку сока, лимонов пару, — не от души. На нем единственном все больничное, даже тапочки больничные, растоптанные, сплюснутые многими ногами, он их вечно теряет: шагнул, а она летит с ноги вперед, и хромает за ней в одном носке.

Касвинов вышел, они остались с Полиной вдвоем. Тихо разговаривали, подолгу молчали. Он лежал поверх одеяла, она сидела на стуле рядом с его кроватью, когда задумывалась, грустные тени ложились на ее лицо. Все ей известно, все она знает, держит в себе, и ложь ее святая, и поцелуй в губы («Хотел оставить меня одну...») — это чтобы он поверил, дарила ему надежду.

— Прости, — сказал он.

— За что?

Он не ответил. Он думал о том, что предстоит ей вытерпеть около него. Эта беспомощность, которая наступит неизбежно, унижения, когда перестает быть самим собой. Унижений он всю жизнь старался избежать, от этого берег себя. Наверное, потому и не достиг чего-то, чего достигают люди, кому стыд не дым, но душа не позволяла себя променять. Да и стоит ли дело того?

— Ты такой сердечный стал последнее время, — Полина смотрела на него сквозь пелену слез, — прямо пугаешь меня.

Нет, она не была с ним счастлива. И главных радостей, которые даруются человеку, он ее лишил. Были бы дети, были бы теперь внуки, новый смысл обрела бы ее жизнь. Но Митя трехлетний все годы стоял перед глазами.

Кто-то рассказал, как совсем маленький мальчик с божеской мудростью пожалел мать, ночи просиживавшую около него, «Мам, ты поспи. Я умирать буду, разбужу тебя...» И словно это про Митю рассказали. Все боялся, другие дети заслонят его, заместят в сердце. Но Полина за что неслá этот вечный крест?

— Прости меня, если можешь.

— За что простить? Или ты что-то почувствовал? Скажи мне.

Он разглядел ее не сразу среди множества народу, съехавшегося тогда на стройку Каховской ГЭС. Полина говорила ему после: «Я-то тебя давно увидела, ты меня не замечал». С ее тихой профессией могла бы она сидеть в Москве, держаться за родительскую квартиру. Она поехала на стройку судьбу свою искать. Женихи ее поколения остались в полях от Подмосковья до Вены, до Берлина. А ему на стройках сразу после войны то было нужно, что жизнь здесь временная, вроде бы все еще не кончено. Вернуться в свой город, где погибла у него семья, и там начинать жизнь заново он не мог, на огромной нашей земле не было такого места, куда бы душа потянулась. На стройке же, как на фронте, — все главное впереди. Он и шофером был, и бетонщиком, и прорабом, и на-

чальником участка — кем только не был. Поколесили дни с Полиной по стране. На такой вечно авральной работе люди сгорают быстрее, но по нему была эта жизнь.

А заметил он Полину, как ему казалось, случайно. В обеденный перерыв в столовой известный на стройке экскаваторщик, красивый здоровый парень, шел между столиками, победно обняв за плечи какую-то новенькую девчущку, она послушная шла под его рукой. От выхода, от дверей обернулся, подмигнул официантке, та с буфетчицей тут же перемигнулась, обе бывалые, лоснящиеся: мол, повел дурочку. Не первую он уже вот так уводил. И вот тут Николай Иванович встретился глазами с Полиной — она сидела недалеко — и в глазах ее прочел то же, что сам в этот момент думал. А она в его глазах себя увидала. Потом еще вслед ей посмотрел, когда они с подругой встали и пошли. Тогда женщины только на стройках носили брюки, и было это непривычно, придавало особую мужскую вольность всему облику. Она знала, что он смотрит ей вслед, он почувствовал это. Какое чудное было лето, какие дни стояли, какие ночи над Днепром — целую жизнь назад.

— О чем ты думаешь? — спросила Полина.

Он молча погладил ее руку своей исхудавшей рукой. В ней он и ребенка держал когда-то, и людей убивал, и баранку крутил, много за жизнь дел переделал.

Лицо Полины было мокро от слез, она не замечала, не вытирала их. Пусть поплачет, облегчит сердце. Тихо было, хорошо вдвоем. Много ли в своей жизни они вот так сидели?

Предвечернее закатное солнце ярко светило в палату, и такой он щемящий был, это свет, целой жизни не хватило на него наглядеться.

1985

ВЕЩИЕ СНЫ

Был сон, который часто снился в детстве; другие сны я забыл, а этот помню. Начинался он так: вдруг возникала паника, все куда-то бежали, бросали все, и тут появлялись они. В глубоких касках до плеч, без лиц, с маленькими пистолетами в руках, они тяжело топали по коридорам, комнатам, шли за мной, и хлопали, хлопали вслед мне тихие выстрелы. Задышав, слабая от ужаса, я просыпался и не верил еще, что это — сон.

Немецкую каску времен первой мировой войны мы нашли во дворе под крышей сарая. Кто-то увидел, как с дерева, из гнезда, вывалился птенец. Тут же, разумеется, мы полезли смотреть. На раскаленной солнцем железной крыше лежал совершенно голый птенец, несоразмерно длинные были вытянутые его ноги, каждая толщиной в соломинку, но уже с готовыми крохотными коготками, глаз задернут пленкой, на клюве вздулся пузырек крови. Вот в этот день на чердаке сарая, где столько

раз мы играли в войну, обнаружена была каска и нож, длинный, заржавленный кухонный нож, мы очень жалели, что это не ножевой штык, а так бы — немецкая каска и штык... Она была лакированная, с острым шпилем, а те, во сне — серые, стальные, и крошечные дула пушек торчали из них вверх, как рога.

Потом было время, когда никакие сны мне вообще не снились, и не болел я в окопах ни разу, но в госпитале, когда все в тебе отпускалось, оттаивало, снился дом, мирное довоенное время. А теперь все вместе это далекий-далекий сон. Иногда он поразительно ярок, и вновь светит солнце тех дней, как оно тогда светило.

В конце августа сорок четвертого года, спешно погрузившись в эшелоны, мы ехали по Румынии под стук колес. Блеснула морем и солнцем Констанца, но там — другая армия, а мы — северней. Когда на повороте дугой изгибались рельсы, бывал виден весь состав, спешащие за паровозом пыльные, красные товарные вагоны, платформы с пушками, платформы с тракторами, вагоны, вагоны, в каждом, откатив двери, сидят, стоят солдаты, грудью, локтями опершись на поперечный брус, как стояли в дверях мчащихся товарных вагонов солдаты прежних войн, когда нас еще не было на свете, а войны прокатывались по земле.

Позади Яссо-Кишиневская операция, как будут ее называть отныне, долгое, бесконечно долгое сидение на заднестровских плацдармах, где воронка к воронке, где днем все живое скрывалось под землю, и столько раз немцы пытались сбросить нас с плацдармов в Днестр. А после всего этого — стремительный прорыв двух наших фронтов, двадцать с лишним окруженных немецких дивизий, вначале они еще пробивались к своим, а потом была ночь, малярийная бредовая ночь, когда среди трофеев, брошенных пушек, снарядов, повозок, каких-то ящиков (один ящик оказался с изюмом, мы ели его горстями) бродили, как серые тени, и мы, и немцы, и никто ни в кого не стрелял, а утром, никем не охраняемые, они шли в плен — «Wo ist plen?», — я своими глазами видел эти колонны, им только указывали направление, но их уже не увидели те, кто остался на плацдарме, зарытый в песок: победы и награды достаются живым. И вот мы мчимся в эшелонах, что ждет впереди, знать никому не дано, война учит солдата далеко вперед не загадывать, а пока — жизни миг.

Мелькают под августовским солнцем белые, словно только что побеленные стены хат, снизу красно-багрового перца сушатся на них, сине ставни раскрыты, соломенные островерхие крыши подстрижены в кружок; на огородах, на рыхлой земле — огромные желтые тыквы; медлительные воли в ямах на пыльных дорогах, крестьяне в высоких бараньих шапках, в соломенных шляпах — странно все это, отвыкли мы от мирного вида людей. Там, в Молдавии, пока шли бои, жители были отселены на двадцать пять километров от Днестра: брошенные дома, виноград поспевал на виноградниках, поля кукурузы, шелковица отрясалась с деревьев при каждом взрыве снаряда. Случалось, старик или под-

росток проберутся наломать кукурузных початков со своего поля и то ночью, тайком, с великой опаской. Несколько раз во двор, где стояли мои разведчики, вот так пробиралась хозяйка проводить хозяйство и прижилась в своем доме из милости, варила на всех мамалыгу, чüdные борщи. Забеременела она от командира отделения разведки, он в том же году был убит в Венгрии, но живет на свете то ли сын его, то ли дочь, возможно, уже их дети живут...

А здесь, в Румынии, война закончилась. Мелькнула у закрытого шлагбаума повозка странного вида, каруца, так, кажется, их здесь называют, старик в белой рубашке, в меховой жилетке держал вола за длинный рог; вдруг снял шапку, поклонился лысой головой вслед проносящимся вагонам. За себя поклонился или судьбе нашей? Может, сам — бывший солдат. Паровозный гудок режет синий простор впереди эшелона, стучат, спешат колеса, плотный сухой ветер в лицо; бесконечно можно смотреть вот так из мчащегося поезда вдаль.

В Темишоарах, когда наш эшелон стоял, вдруг вижу: бежит вдоль вагонов командир взвода шестой батареи Леша Краснов, машет мне издали: «Тебя зовут!» Вот так бегут и машут, когда случилось что-то или начальство требует, а к началству идти, сразу все грехи припоминаешь. Они есть, за каждым что-нибудь числится, безгрешны только мертвые. При погрузке пушек наша батарея замешкалась, трактор никак не разворачивался на платформе, и тут — командир полка, красное от ярости лицо, будто улыбающееся во весь широкий рот. Такая была у него особенность: чем яростней накалялся, тем охотней улыбка. Наш капитан от одного вида этой его улыбки сразу становился маленьким, терял себя целиком: «Слушаюсь! Слушаюсь!..» Бледный кинулся помогать. Как раз накатывали бегом повозку, налетел с криком, схватился за ребро подпихнуть и ожегся: из-под брезента торчала свиная нога, за нее, за холодное ее копыто и ухватился в спешке, не увидев. «Это что? Это откуда?» И на меня: «Гляди-и!..» Кто же на войне спрашивает «откуда»? Не ради порядка, а чтоб ему не досталось, кричит он и назад оглядывается, а меня смех шатает, как он за копыто схватился, еле сдерживаюсь, чтобы стоять навытяжку. В обед ему первому, капитану нашему, командиру дивизиона, принесли котелок супа, сверху сняв пожирней и снизу зачерпнув погуще, и свинины там кусок, той самой, он ел и не интересовался, откуда что, но грозное «Гляди-и!» осталось, как заведенное на тебя дело, в любой момент ему может быть дан ход.

— Кто зовет, кому потребовался?

— Девчонки!

— Какие девчонки?

Леша подбежал, не отдышится:

— Санитарный поезд стоит...

Вместе нырнули под вагоны, Леша не отстает, сопровождает меня. Еще эшелон. Пронырнули между колес. А уже тронулся санитарный поезд, зеленые пассажирские вагоны, что-то белое на окнах, красные на-

рисованные кресты на крышах, покров и защита раненых, беспомощных людей. Столько раз на эти кресты, видные издалика, безнаказанно пикировали «мессершмитты». А в дверях, на подножках — медсестры. И наши палатные тоже — Люся, Галя, Машенька, тихо постукивают под ними колеса, подрагивают ступеньки, и проезжают, проезжают они мимо. Это эвакогоспиталь 1688 передислоцируется за фронтом, я в нем лежал в Днепропетровке. Милые вы наши девочки, как же вы догадались спросить про меня? Оказывается, пушки увидели на платформах. Вот действительно чудо на войне: пушки! И мало ли артиллеристов перележало у них? Но спросили же, спросили! В сапожках по ноге, в юбках, в гимнастерках, затянутые в талии ремнями, стоят на подножках вагонов, на нижней, на средней, в тамбуре, как на фотографии, и проезжают мимо. Какие же вы хорошие, какие все — красавицы на наши, стосковавшиеся по вас глаза. Из всех товарных вагонов, с путей, со щебенки смотрит повысыпавший военный народ, от одного присутствия вашего все — brave, машут, кричат, улыбки шире лиц. И я кричу вослед, из всего, что надо спросить, кричу вдруг это:

— Старший лейтенант в палате лежал третий от двери... Черепное ранение... Жив?

— Жив! — донеслось. — Домой уехал!

— А капитан...

Они уже перевешиваются, держась за поручни, уже и другой вагон обогнал меня, и еще, и еще — пустые на просвет в окна вагоны, пустые заправленные полки, быть может, для кого-то из нас. И вот последний вагон отстукивает прощально. Это же надо, чтобы так совпало, так встретиться. И ни о чем расспросить не успел, три месяца лежал у них, целая жизнь. Только про этого старшего лейтенанта...

Я возвращался вдоль состава, как знаменитость: целый полк, два эшелона стоят, я один отмечен вниманием. Да еще чьим вниманием! Само собой, подразумевались тут и некие подвиги, которых не было. И Леша в отсвете моей нежданной славы сопровождал меня, вновь рассказывал, как он идет, как окликают его: лейтенанта такого-то нет тут у вас случайно? Вместе мы впрыгнули в наш товарный вагон: Леша тоже полежал в госпиталях, есть что вспомнить, не хочет и расставаться. В мирное время в таких вагонах возят преимущественно неодошевленные грузы, на войне — лошадей и солдат.

Опять мелькали кукурузные поля, сады, деревеньки, а мы — мимо, мимо, только опрокинутые косо тени вагонов, вытянутый состав из теней скользит под насыпью, не отставая. На станциях уже прогуливались румынские офицеры в высоких начищенных сапогах, голенища — бутылками, нарядные офицеры мирного времени. Для них война кончилась, нас она ждала впереди.

И вот когда мы стояли с Лешей локоть к локтю, опершись о поперечный брус, жмурясь от встречного ветра, он рассказал, что получил письмо из дома, первое за всю войну письмо, рассказывал и словно бы

сам смущался выпавшего ему счастья. На такой войне счастьем не бахвались, как не станут хвалиться хлебом при голодном человеке. Но хлебом можно поделиться, а как поделишься счастьем, если оно выпало на одного? С тех самых пор, как отступили мы от границы и все его родные остались под немцем, ничего не знал он ни о ком из них. И вот разыскали его через дальних родственников, живы. И он послал им письмо: жив.

Была примета на фронте: если перед боем человек начинает рассказывать о себе сокровенное, значит, почувствовал что-то, бой этот для него последний. Дело, конечно, не в приметах. Перед боем о многом думается, человек не волен в жизни своей и смерти, и никому не хочется исчезнуть бесследно, не оставив о себе никакой памяти. Вот и рассказывают.

Я еще посмотрел на Лешу. Красивый парень. Не какой-то особенной красотой, а тем, что отличало и выделяло человека в ту пору: ранним мужеством. Он и воевал хорошо, за чужую жизнь не прятался. Леша как раз высунулся из вагона, что-то разглядывал впереди, рукой придерживая на сердце медали и орден. А две желтые полоски над карманом — обе за тяжелые ранения. С середины войны, с тех пор, как мы наступали, появились и кубанки на головах, и сапоги у нас в артиллерии начали перешивать на манер хромовых — все это обрело значение и смысл. Вот и у Лешы на голове черная кубанка придавила светлый чуб над бровью, он ее поглубже надел, чтобы ветром не сорвало.

Эшелон наш то мчался, то полз по взорванным и наспех восстановленным путям. Поравнялся с нами очередной столб, Леша спрыгнул, дождался теплушки своего взвода, его за руки втянули в вагон. А я взобрался на верхние нары, лег. Тоже думалось о своих: как они там? Чужое счастье заразительно.

В госпитале у нас, в Днепропетровске, в том самом госпитале, который мы только что повстречали на колесах, был солдат из оккупированной местности, его мобилизовали, когда мы пришли. Повоевал он недолго, тут же и ранило, и был он, в общем, доволен. Этот солдат умел гадать по руке, не раз я видел издали: стоят в уголке двое в халатах, один слушает с доверием, другой говорит ему, говорит. В гадания я не верил, но все же решился испытать. И вот странно: совершенно точно он сказал, куда я ранен. Рука на перевязи — это видно, но он перечислил и те раны, которые зажили, про которые знать он не мог. Вот тут я и спросил его о моих братьях. По моей ладони, читая линии судьбы, он предсказал, что каждого из них ждет впереди. А они уже оба погибли: один — под Москвой в сорок первом, другой — под Харьковом в то наше майское наступление сорок второго года. И солдат признался, что всю оккупацию он кормился этим: гадал бабам на базаре, они верили и надеялись. Со школы мы усвоили твердо: утешители вредны. Но кто знает, может быть, лучше не ведать иной раз, какое-то еще время жить надеждой.

Я задремал под стук колес на верхних нарах, а проснулся на полу. Вскочил, как после разрыва: над нарами, в проломленной стене — дульный тормоз пушки. И медленно он выдвигается оттуда, из пролома. А уже бежит народ вниз вдоль путей, кричат что-то. Мы тоже прыгнули на насыпь, побежали, куда бегут все, на ходу ощупывая ушибы. Впереди, в голове состава, столкнулись паровозы двух наших эшелонов: кто-то перевел стрелку или, наоборот, забыл перевести нужным образом, и с двух разных путей эшелоны устремились на один путь.

Когда мы подбежали, паровозы, врезавшиеся друг в друга, стояли, накренные врозь, все шипело, окутанное паром, а земля и насыпь, как под разлившейся лавой, горели и чадили: это раскатился жар из топок. Позже я видел, как растаскивали паровозы. Освободили пути, подогнали к каждому сзади еще по паровозу, потянули, они расцепились, грохнулись всеми колесами на рельсы.

Задним числом всегда столько находится умных, и уж они знают, что следовало, чего не следовало делать. А не следовало — и это уж точно! — ставить в середину состава, между платформами с теплушками и тракторами, легкий штабной вагон. Его и сплюснуло накатившейся тяжестью. Когда мы подбежали, там еще слышались стоны и капало на шпалы, на щебенку. Ничего нужного в первый момент под рукой не оказалось, вырубали топорами из-под низу, сменяя друг друга, а железо, как назло, толстое. Там, в тамбуре, стояли и курили трое. И вот судьба: один из троих был Леша Краснов, его как раз вызвали зачем-то в штабной вагон. В сплюснутом тамбуре, в железной этой коробке, когда мы прорубались, слышны были стоны и капало, но все тише, реже. Провели мимо двух железнодорожников, вели их быстро, подталкивая в спины, в шею, на них зло оглядывались от вагонов.

Через несколько часов наш полк двумя эшелонами двинулся дальше. Впереди каждого из нас ждало свое, а всех вместе — бои в Венгрии, в районе озера Балатон, одни из самых кровопролитных за всю войну. По берегам этого озера теперь модный европейский курорт, туда съезжаются на машинах из Австрии, Швеции, из обеих Германий.

Лешу звали иначе, и фамилия у него была другая, но надо ли его родным, если кто-то из них жив, знать, как все это было. Он был хороший, смелый парень, зачем-то судьбе понадобилось даровать ему последнюю радость, а письмо его еще долго шло.

...Иногда мой четырехлетний внук вдруг просыпается среди ночи, садится в кровати, бормочет испуганно, глаза огромные, невидящие. Я укрываю его одеялом; сонный, тяжелый, он валится мне на руки и засыпает. Что напугало его? И сжимается сердце: неужели и в него в детском его сне кто-то стреляет, идет за ним с пистолетом?

КОСТЕНЬКА И КОЛЕНЬКА

Давно уже нет этих лип столетних, что накрывали своей тенью и дом, и улицу, а когда цвели сладко, тучи пчел жужжали в них и все звенело вокруг и пахло. Рыли под городские дома котлованы, выворачивали вместе с корнями деревьев мертвую глину из холодной глубины, погребая под ней огородную землю, столько раз удобренную, перекопанную, рассыпчатую, столько кормившую. А какие чудные названия у этих мест по Казанской железной дороге: Косино, Вешняки, Плющево... Ныне Вешняки вобрала в себя Москва, и владельцы домов, прежние соседи, расселились по квартирам кто где, чтобы за оставшуюся жизнь не увидеться больше. А тогда стоял на одной из улиц Вешняков дом в глубине участка, дом Лычевых под железной крышей. В последний раз сам хозяин, Василий Семенович, разувшись, босиком, красил крышу в зеленый цвет, сыновья помогали ему. Потом все вместе, еще и Прасковья Матвеевна вышла, полюбовались они с участка и с улицы, как блестит крыша свежим маслом. Думать не думали, что считанные месяцы остались до того времени, когда к самой к Москве придвинутся немецкие армии и надо будет бросать дом и сад, в котором под каждую яблоню сам рыл яму, растил, лечил, ухаживал, дождался наконец, когда сад вошел в зрелую пору, и вот все кинуть и с заводом эвакуироваться неведомо куда.

Уходить из жизни трудней, чем из дому, но ближняя беда всегда заслоняет нам дальнюю, а покидал он не чье-то — свое. Он умер в эшелоне, в теплушке, в нескольких перегонах от Москвы; как говорила потом Прасковья Матвеевна, сердце не выдержало. Эшелон пошел дальше, они сгрузились, похоронили отца и втроем пустились в обратный путь — будь что будет! А когда вернулись и увидели, как все тут разорено, растащено, поняла окончательно: надеяться ей не на кого.

На третьем году войны это была совершенно седая высокая старуха с вечно распадавшимся на затылке пучком жиденьких закрученных волос. В жилистых ее руках с худыми локтями так и мелькало все, так и мелькало. И есть кто дома, нет никого, говорила без умолку, хоть сама с собой, хоть с радио, которое не выключалось. Работал в ней этот мотор, жег непрестанно, и, что ни съест, тут же и перегорало в ней. Вот в эту пору прислали новую жиличку — старые жилицы съехали, маленькая угловая комната освободилась. Прасковья Матвеевна сдавала ее всю войну не столько из-за денег — что теперь эти пятьсот рублей бумажных! — сколько за дрова, жильцов подолгу не держала: поживут, приживутся, начнут права предъявлять на площадь, скажут, война, делиться надо, вместе как-то это время переживать, и от твоего дома отделят им

часть. Что на этот счет в законах, она не знала, а так верней, и от правил своего не отступалась.

Была осень, рябины стояли красные, мокрые по утрам, дрозды обтрясали их. Прасковья Матвеевна вышла, вытирая голые руки передником, хмуро глядела сверху, с крыльца. Жиличка с дочкой тремя ступенями ниже, с земли, зависимо смотрели на нее.

— Чего сдастся? Где сдастся? У меня лично ничего не сдастся.

Она сразу увидала, жиличка натерпелась в жизни, смиренная женщина, но дочка вот... Дочка была хороша собой, а у нее сыновей двое: старший, Костенька, работает на том же старейшем заводе, где отец работал. Коленька пока еще в техникуме учится при заводе. И обоим уже присмотрены невесты, Ксеничка и Настенька, родные сестры, примерного поведения барышни. Тоже у них дом свой, большой, хороший, Ксеничка — учительница, двадцать седьмой год пошел, хозяйка-хозяйка. А что старше Костеньки, так больше ценить будет, крепче держаться за мужа.

— Ничего не сдаю!

Сад мокрый от росы, весь до вершин наполненный холодным прозрачным паром, отогревался на солнце, сверкал, и дочка жиличкина засмотрелась на него, улыбаясь своему чему-то. С нею и Прасковья Матвеевна увидала, что каждый день перед глазами, да особо смотреть некогда. Но тут коза с козленком, пользуясь моментом, проникла в огород. Схватив хворостину, занеся над собой в голой руке, Прасковья Матвеевна с криками гоняла козу по участку, а когда возвращалась, запыхавшаяся до сердцебиения, слышала издали их разговор: «Ну, не сдастся же, сказали, мама, не сдастся». — «Подожди, доченька». — «Чего ждать?» Вот и непокорная, нет чтобы попросить: тебе надо — попроси, попроси. Ни за что не пустила бы, но жиличка пообещала дров привезти: им, как семье фронтовика, выписывали дрова. И Прасковья Матвеевна сдалась.

В тот же день привезли они свои вещи, все на одной тачке поместилось: два узла, один чемодан кожаный, хороший — от прежней хорошей жизни — и табуретка. Ее уже в войну нажили, табуретка была новая, некрашенная, так и ехали по улице с табуреткой на вещах.

Дала им Прасковья Матвеевна маленький овальный столик (назвала его почему-то ломберным, сказав при этом, что сама она окончила гимназию еще в то, в прежнее, в мирное время), дала односпальную кровать с четырьмя никелевыми шарами, свою, девичью; прежние тоже пользовались всем этим. Впрочем, другая кровать, пошире, здесь бы и не встала, но они высыпались по очереди: мать сутками работала, часто в ночную смену, Аля в музыкальной школе училась петь. И вышло все так, как Прасковье Матвеевне сердце подсказывало: Колька запел. Стоит перед зеркалом, давит прыщи на подбородке и поет:

— В сия-а-нии ночи лу-уннойй тебя я увида-алл...

И тут же Алин голос из-за перегородки:

— Колька, перестань выть на луну!

Вон как с первых дней заговорила. А Прасковья Матвеевна, если и захочется поговорить, не с кем, только с радио на стене. По радио теперь все больше передавали победные сообщения об успехах на фронте и в тылу, а между сообщениями пела какая-нибудь певица.

— Поешь! — совестила ее Прасковья Матвеевна в черный репродуктор, и за перегородкой было это слышно. — Ломила б ты, как народ ломит, небось бы не запела. Правильно говорил покойник наш Василий Семенович: самый бесстыжий народ эти певицы. Вот настолечко совети в них не осталось!

Василий Семенович, как теперь выяснялось, успел на все случаи жизни сказать правильные, вещие слова.

— Костенька приходит с завода, как старичок какой-нибудь, прости меня господи, даже ростом стал ниже. Люди на фронте жизни своей не жалеют, а она поет!

— Ма-а-ть! — раздавался ленивый Колькин голос. — Замолчи!

Заглянула. Сидит Колька на стуле, фотоаппарат наставлен, сам себя фотографирует перед зеркалом.

— Ты как с матерью разговариваешь? Как с матерью говоришь? Не меняясь в лице, Колька дождался, пока в аппарате зашипело, щелкнуло.

— Замолчишь, нет?

И опять из комнаты:

— В сия-а-ни-и ночи лу-ун-нойй...

— Поди воды принеси, вон ведра пустые!

— ...тебя-а-я я увида-а-алл...

Заглянула в комнату еще раз, Давит прыщ перед зеркалом, оттого и гнусавит в нос.

— С тобой мать говорит, сходи за водой, велю!

Выдавил с кровью.

— Представь себе, я умер. Ты обошлась бы? Вот и представь: нет меня, умер.

Это чтобы Аля слыхала, какой он умный.

В конце ноября, только лег снег на мерзлую землю, Але купили оленью шубу. В воскресный день утром поехали они с матерью на баракхолку, вернулись счастливые, позвали Прасковью Матвеевну смотреть.

Аля стояла на дорожке на снегу, запахнутая в шубу, две толстые косы перекинута на грудь. На эти косы Прасковья Матвеевна лучше б не глядела: видела она, как на них Колька засматривается.

— Сколько отдали?

Заранее не одобряя, Прасковья Матвеевна поджимала губы.

— Грех на моей душе — всего тысячу рублей. Это же две бутылки водки на базаре, а тут шуба! Смотрите, Прасковья Матвеевна, прямо по ней. И те-оплая! Мужик пьяный продавал, наверное, украл где-то.

Прасковья Матвеевна последний раз верила в чудеса, когда замуж выходила. Она потрогала рукав шубы, помяла в пальцах, олений волос так с него и посыпался. Эта шуба лет десять пролежала в сундуке, задохнувшись. Еще и ползими не прошло, шуба стала кожаная — на боках, на рукавах, на спине желтый глянec. «Линяет моя собака, — смеялась Аля, а что ж теперь, как не смеяться. — К весне новая шерсть вырастет».

И у Кольки из всех ванночек смотрит из воды Аля в кожаной шубе, подпоясанная ремешком: вот повернула голову, вот вышла на крыльцо, вот в комнате в этой самой шубе пишет в тетрадке. Печь Прасковья Матвеевна топила от себя, истопив, пригребала жар к своей стенке — натопить весь дом дров не напасешься.

Но среди всех дней были особенные дни в году, когда нарушалось обычное мелькание жизни. Один такой день наступал поздней осенью. Все дела по саду закончены, клубничные кусты обобраны от сухих листьев и обстрижены на зиму, картошка выкопана, огород — как после нашествия и разорения, и грязь тащится за сапогами к дому; другой такой день бывал накануне весны: еще снег лежит, ночью и утрами морозец, но в полдень солнце жаркое и на припеке уже тает. Вот в такие дни в доме совершалась генеральная уборка. Длилась она неделю целую, и всю неделю все спотыкались о ведра и тазы с водой, на холодную террасу выкидывали половики, с окон снимали занавеси, ставилась на стол скамейка, на скамейку венский стул, и все это сооружение передвигалось по комнате. А наверху бог знает в чем Прасковья Матвеевна, в худых ее руках щетка, и щеткой, мылом, веником яростно трет дощатый потолок.

— У меня всегда было так и всегда будет... Чтоб как при покойнике, при Василии Семеновиче!.. Чтоб каждая досочка светилась, как желток!..

От чугунов, от ведер — пар, потоки мыльной воды скатываются по стенам, во влажной духоте, как в бане, а на столе, на скамейке, на шатком стуле задыхающаяся Прасковья Матвеевна. И крик на весь дом:

— Колька! Ой, держи! Держи! Падаю!..

Опрокидывая ведра, чертыхаясь, бежал Колька, случалось, в воздухе ловил мать. Скамейка, стул — все из-под нее рушилось.

— Ох, сердце оторвалось! Ох, ноги дрожат!

— Ты кончишь когда-нибудь? Житья от тебя нет в доме!

— Нет пожалеть мать...

И опять составлялась вся пирамида, и на дрожащих от страха ногах опять лезла вверх Прасковья Матвеевна.

Сначала скреблись, мылись и окатывались все потолки, потом стены, и, наконец, теркой, веником скребла пол. К этому времени ноги уже не держали ее, она и не ела почти ничего все это время, только бес-

конечно пила чай и теперь ползала по мокрым полам на коленях, домывала, протирала насухо.

Зато потом, после всех этих мучений, настал день, когда выстиранные и выглаженные занавеси вновь развешаны на окнах, постельное белье сменено, коврики на тех же гвоздях над кроватями, от порога растелены выбитые половики и шкурки съеденных козлят. Всю зиму тучи пыли подымались от них, а теперь, выбитые на снегу, вычищенные, они лежат и под ними полы просыхают. И легкое дыхание исходит от бревчатых стен, и сама Прасковья Матвеевна, искупавшаяся, даже руки отмылись от огорода, чаевничает. Белая скатерть на столе, как бывало, варенье клубничное, варенье яблочное, варенье черносмородиновое, и Ксеничка в гостях. А в погребке, под ногами, под полом, картошка перебранная, сухая — своя, морковь в песке — своя, капуста в бочке нашинкованная и прямо так, кочанами, — своя, яблоки моченые, грибки маринованные — все свое, никому не кланяться, не покупать. И у Ксенички под домом запасено.

— Посмотри, Костенька, кто к нам пришел! — выманивает сына Прасковья Матвеевна, и душа ликует, голос поет. — Ксеничка у нас в гостях!

И за перегородкой у жильцов слышно: Ксеничка-Ксеничка, Ксеничка-Ксеничка...

А Ксеничка своим глухим голосом вторит Прасковье Матвеевне, во всем заранее согласная с ней. Когда она уходит, в доме начинается скандал.

— Ну не нравится, не нравится она мне, — стонет Костенька.

— Ксеничка не нравится! Вы поглядите на него! Ксеничка не нравится... Ксеничка в школе на хорошем счету! Я сама окончила гимназию, знаю...

— Не нравится-а!

— Хозяйка в доме, уважительная-уважительная. Мужа уважать будет.

— Вот и женись на ней! — раздался Колькин голос, ему надоел крик. От Кольки и не этого ждать можно, он себе право взял, но Костенька...

— Да кто ж тебе нравится тогда, если уж Ксеничка не хороша? Ксеничка ему не хороша...

И однажды Костенька набрался смелости, решился — есть на заводе девушка, работают вместе.

С неделю в доме стоял заполошный крик:

— Вот руки! Не разгибаются! Пальцы все скрючены. Еще снег не сошел, а уже гребу ими. Не нравится ему! Всю войну люди пухли с голоду, вы у меня горя не знали. Вот этими, все вот этими руками! Не нравится...

Костенька на семь лет старше брата, но тот почти на голову выше его: с детства Колька выпоен козьем молоком, красивый вырос, рослый,

мать хоть и кричит на него, а все ему прощается. А Костеньку жаль. В доме его не слышно вовсе, как будто его и нет. Уходит на завод затемно, возвращается в темноте. Ему двадцать четыре года, а уже залысины со лба и волосы редкие, тонкие, даже не блестят. И такой же он суетливый, как мать, и лицом похож на нее, и голосом. Але за стеной иногда казалось, две бабки ссорятся: она ему дрожит голосом, и Костенькин голос дрожит.

— А-а-а! — взвивался уличающий крик Прасковьи Матвеевны, потопля женский стонущий голос сына. — А-а!

И худой палец ее в такие моменты ввинчивался ввысь, и слышно, как она с притопом, прискоком наступает на него — она еще и артистка была, стоило в раж войти.

— Ксеничка ему не нравится, вот до чего дошло! И молчал, молчал все! Примолчался и молчит...

А Колька, посмеиваясь, посвистывая, ходил по двору именинником. Сев на велосипед, делал круги под Алиным окном.

— Сражаются!

На следующем кругу сообщал:

— Бои идут с переменным успехом, наши наших бьют.

К субботе крик стих — выдохлись. С утра в субботу Колька играл с козленком. Он сидел на деревянной кровати, раздраживал, раздраживал козленка, тот, попятыя в угол, подальше, напрягшись до дрожи, разгонялся. В последний момент Колька взбрасывал ноги, козленок бухался лбом в доску. Колька хохотал до слез. Потом они наперегонки носились по двору. Каждый раз, прежде чем зарезать, Колька подолгу играл с козленком. В полдень свежеснятая шкурка сушилась, распятая под сараем в тени.

И вот настало воскресенье. Весна сорок пятого, последнего года войны, была ранняя, снег в Подмоскovie сошел уже в начале апреля, только где-нибудь в лесу, в овраге или на теневой стороне еще держался, осевший, серый. Костенька с утра суетился, сновал по двору, подметал дорожки, во всем угождая матери. На холодной террасе накрывал стол, здесь было по-летнему тепло от солнца.

Незадолго до этого дня, чтобы жильцы не завидовали, а главное, не польстились, Прасковья Матвеевна отвела им в углу двора старую заброшенную грядку клубники, до которой у нее уж руки не доходили. Но, дав, испытала забытую радость дарящего и сама подробно объяснила, как и что надо делать, разрешила даже золы взять на удобрение — от тех самых дров золы, которые они привезли и жар которых всю зиму она пригребала к своей стенке. И еще — так уж и быть! — отвела рядом кусок целины под свежую зелень, как раз, если вскопать, получится грядка величиной с могилку. У Прасковьи Матвеевны нигде земля не пустовала, каждый клочок кормил. Уже и сейчас проклевывались вдоль дорожки, тянулись к солнцу самые ранние цветы: крокусы, нарциссы. За ними пойдут пионы, сирень, и так одни будут сменяться другими до самой до

поздней осени. Война войной, а люди уже и цветы покупают, и раннюю клубнику за большие деньги берут — Москва большая. Но тут, в углу двора, в тени, отвела им, пускай пользуются.

Аля с утра вскопала, взбила граблями и разровняла грядку, сама любясь, как все у нее получилось, и, пока обирала сухие листья с заросшей клубники, пока обстригала ножницами, ветер сушил свежевскопанную землю, косое солнце сквозь деревья пекло волосы, и голова от весеннего воздуха, от запаха талой воды была легкая, пьяная-пьяная и как будто кружилась. И впереди ждала радость — почтальон принесла письмо от отца с фронта. Отец писал, что ординарец их генерала поехал в Москву и с ним удалось передать посылочку. Почтальон не раз говорила с завистью: «Что ж это отец ваш ничего вам не пришлет?» И, будто своим хвастаясь, рассказывала, кому и кому пришли посылки. Но столько всего, самого необходимого нужно было им, все потерявшим во время войны, а главное, так силен был суеверный страх, что мать вздыхала только и говорила: «Какие посылки! Он на фронте. Был бы жив, вернулся бы живым...» Отец писал, в посылке материя на кофточку, синий в белый горошек сатин, и Аля мысленно видела себя в этой кофточке.

Она не слышала, как Костенька убегал на станцию к поезду, как вернулся с невестой. Только вдруг стихло в доме. И, когда Аля уходила, все уже сидели на террасе за столом, стлался по двору самоварный дым из трубы, и фальшиво-ласковый голос Прасковьи Матвеевны любезно пел. Не так, как с Ксеничкой, там сама душа ликовала.

Аля шла вдоль железнодорожного полотна, обсаженного еще голыми тополями, мокрая кора их зеленела, пахло почками, ветер дул с весенних полей, слепил блеск солнца, но от канавы, где еще лежал снег, забросанный всяким хламом, наносило холодом.

А вскоре этой же дорогой бежал вслед за невестой Костенька, весь дрожащий, а во дворе кричала Прасковья Матвеевна:

— Колька! Колька! Что ж это он делает с нами? Привел невесту — через всю морду шрам!.. Откуда это у вас шрам?.. Что это у вас с лицом? Должна я спросить? Должна?

И прибежал со станции Костенька, не помня себя, впервые в жизни кричал на мать:

— Как ты могла так обидеть? Она, может быть, сама всю жизнь из-за этого шрама...

— А-а-а! — взвизывало уличающее Прасковьи Матвеевны. И вприпрыжку, вприскок наступала на Костеньку, трясла над собой сухими руками. — Стыдился! Не сказал матери! А мать должна терпеть?

— А я не спрашивал! Ее все спрашивают. Может, она и полюбила меня, что я не спрашивал никогда.

— Полюбила? Что ж она по себе, со шрамом не нашла?

— Она тихая, скромная, она же мухи не обидит! Уж, кажется, должна тебе угодить.

— Девушку в дом берем, через всю морду шрам!

— Убежала вся в слезах, — мучился Костенька. — Я ее в гости по-
звал, как теперь в глаза посмотрю? Как на работу идти? Не могу!

И кулаком своим бил в столбик перил, лбом ударялся, чтобы болью
забить главную свою боль.

Но Аля ничего этого не знала, с адресом в руке она шла по Марьи-
ной роще. Вечерело. Подмораживало. В ранних прозрачных сумерках
земля со всем, что вытаяло из-под снега, с голыми деревьями казалась
особенно неприютна и гола. Но от весеннего воздуха была на сердце
тревожная сладость ожидания.

Долго она искала этот дом, ходила вокруг, пока не указали. Врос-
шие в землю перекосившиеся ворота не отворялись, наверное, сто лет,
в глубине двора строение: кирпичный низ, галерея по всему бревенчато-
му второму этажу. Под галереей еще две ступеньки в землю, натекшая
лужа, дверь, обитая мешковиной.

В сплошной темени Аля ощупью шла по коридору. Жестяные ко-
рыта по стенам, какие-то сундуки. Вдруг свет из стены, старушечья голо-
ва в приоткрывшейся двери.

— Кого надо? Чего?

Аля протягивала письмо, как удостоверение.

— Скажите, Карасевы здесь живут?

— Последняя дверь. Туда иди.

Раньше, чем нащупала она эту дверь, услышала громкие голоса за
ней. Постучалась. Голоса смолкли. Молодой военный парень в погонах,
в сапогах хозяйски стал в проеме двери. Ситцевая занавеска отделяла
комнату, свет и тени шевелились на ней изнутри.

— Ну? — он утирал масляный подбородок, оглядывал Алю снисхо-
дительно. Щами, теплом дохнуло из-за его спины.

— Здравствуйте. Я за посылкой, — Аля протягивала письмо, распо-
лагая к себе улыбкой. — Вы Карасев? Папа пишет, вы привезли нам по-
сылку. Я его дочь.

— А-а... — он вдруг изменился в лице. — Ладно. Обождите...

И захлопнул перед ней дверь. Аля ждала в темноте, приглушенно
слышны были голоса:

— Маня, Мань! Приехали за посылкой... Вот видишь, говорил...

— Не дам ничо! Сказала, не дам!

— Тише ты! Тсс. Стоит за дверью...

— Не дам!

Показалось, там борются, слышна была какая-то возня.

— Не дам! — в голос закричала баба. — Не подходи и не подходи!
Сказано, не дам!

Спустя время открылась дверь.

— Вот, — парень совал Але пустой ящик, что-то на самом дне было
прикрыто газеткой.

Отец, писал, посылает им два килограмма муки к Майским празд-
никам, две банки тушенки, пачку печенья, сатин на кофточку.

— А где же...
— Все, что есть,— он отводил глаза.— Что есть...
— Но там мука была! Папа пишет, муки два килограмма! — почему-то обидней всего было ей сейчас за эту муку.
— Что есть, все здесь. Все!
И захлопнул дверь.

Аля редко плакала, за войну она вообще разучилась плакать. А сейчас шла в темноте и сглатывала слезы. И несла этот пустой ящик, в котором газеткой были прикрыты пачка печенья и плоская банка рыбных консервов. Консервы и те заменили. Мысленно она сейчас говорила все, что не сказала там. Вот это и мучило, что не сказала, взяла, что дали, и пошла. «Доченька! — скажет мать, не ругая, а жалея.— Был бы наш папа жив! Вернется живым, ничего нам не надо, проживем». А ее жгло, почему так, почему и она, и мать такие, что готовы промолчать. Те не стыдятся: не дам, и все!

Полная луна светила ярко, когда она возвращалась со станции, подмерзшая земля хрустела ледком, и казалось, не лунный свет, а снег опять открыл землю. Посреди двора стоял Колька. Один. Четко обрисовалась распластавшаяся тень дома, шевелилась тень дыма над трубой. Колька улыбался, поджидая.

— Ну, как тебе наши последние события? Привел невесту — через всю морду шрам. Отважился! Конечно, мать вытерпеть не могла.

Он, казалось, облизывался от удовольствия.

— Дураком надо быть, привести сюда, в этот сумасшедший дом. Мать все равно жизни не даст. Не-ет, я не такой дурак. А Костыка не понимает. Теперь топиться побежал, мать за ним бегаёт. Небось уж до Косино добежали.

Аля прошла к себе в комнату, сидела, не зажигая света. За стеной Колька заводил старый патефон, несколько раз звал ее, стучал в дверь, в окно. Периодически раздавалось:

— В сия-аньи ночи лу-ун-ной тебя-а-а я увида-ал...

Был, наверное, двенадцатый час ночи, когда по двору, обессиленные, изморенные, уже без воплей — вопли остались там, на пруду, — прошли в лунном свете Прасковья Матвеевна и Костенька. И он же еще поддерживал мать, вел ее под руку.

Дня два после этого стояла в доме выморочная тишина, даже радио не включалось. Жильцов Прасковья Матвеевна не замечала вовсе. Они хоть и не присутствовали, но, конечно, Колька все разболтал, все знали. Чувствовалось, гроза копится. Разразилась она внезапно. Аля как раз посадила на грядке морковь, лук, поливала из лейки, когда в доме раздались задыхающиеся крики Прасковьи Матвеевны:

— Все! Все! Терпела — хватит!..

Ни Костеньки, ни Коленки не было, мать, вернувшаяся с ночной смены, спала. Аля пошла в дом.

Потом уже выяснилось, что все эти дни тайно искала Прасковья Матвеевна писем к Костеньке, шныряла повсюду, и попались ей Колькины стихи: «Я от любви не бегу, и обожаю я интимность...» У Прасковьи Матвеевны руки затряслись.

Я от любви не бегу,
И обожаю я интимность,
Но и влюбиться не могу
Я без надежды на взаимность!!!
Когда ты здесь — я удивлен
Подъемом благотворной страсти,
А тебя нет — я упоен
Своим единоличным счастьем.
Когда со мною ты — дивлюсь
Твоим глазам глубоким, строгим,
Я снова в мир страданий рвусь,
К бездумным существам двуногим!..

Там было еще много написано Колькиным красивым почерком, и называлось все это «Единственное откровение». Прасковья Матвеевна кровь в голову ударила. Тут же она ворвалась к жиличке:

— Все! Все! Съезжайте! Давно хотела сказать, хватит!

Та ничего толком не понимала со сна.

— Да что случилось, Прасковья Матвеевна?

— Нет, нет, нет! Зажились! Время военное, скажут, имеете право на площадь. Пойдете в поселковый Совет, а я тогда что?

Аля мыла руки во дворе, и чем сильнее кричала Прасковья Матвеевна, тем спокойней она становилась. Вошла.

— Да не пойдем мы, Прасковья Матвеевна, разве вы не видите, — пыталась уговаривать мать. Возможно, попроси сейчас и Аля, Прасковья Матвеевна побушевала бы и смилостивилась. Но та прошла мимо, вскользь глянула на хозяйку, словно была выше ее ростом.

— Мама, перестань!

— Куда же мы пойдем?

— Нет, нет, нет! Вот я уже и не вольна в своем доме! Я говорю — съезжайте! Вешняки большие, жили у меня, найдете еще.

— Да ведь и месяц не кончился, как же так вдруг?

— Самое страшное, зиму пережили — все! Теперь можно и летнее помещение снять. Любую сараюшку сдадут.

Мать начала было просить, но Аля остановила ее:

— Мама, ты что, не видишь? Зачем, кого ты уговариваешь?

И та сразу успокоилась. За дочку, ради нее готова была на все, даже на унижение, а за себя она давно уже была спокойна. Собралась, оделась и ушла. Вернулась вечером.

— Ну, вот, доченька, что нашла. Выбирать не приходится.

В солнечный весенний день, впрягшись в тачку, Аля везла на новое место их пожитки все с той же табуреткой наверху. До конца войны оставалось меньше двух недель.

1984

ВОТ ВЫ ГОВОРИТЕ...

— Вот вы говорите, воздастся каждому по его делам и что заслужил, таков и суд над тобой.

Ничего этого я не говорил, но ему хотелось рассказать, и я кивнул.

— А я вам говорю — ерунда. И тот, кого вы считаете своим врагом, не враг ваш. Только все это мы понимаем задним числом, и все это очень грустно, печальней, чем мы думаем.

Он подсучил синие тренировочные штаны, влез в воду и, взмучивая глину, ил, походил вдоль берега туда, обратно, словно ему припекало подошвы. А когда вылез, некоторое время смотрел в задумчивости на свои белые на зеленой траве, незагорелые ноги, к которым прилипли нити водорослей, шевелил пальцами.

— Ну, что ж, искупаемся, пожалуй?

Мы разделись и поплыли. Речка наша неширока, поплавав вдоль, мы вылезли на том, высоком берегу, сели над обрывом и смотрели на луг, на деревню, как там гонят стадо. Вечностью веет, когда видишь, как на закате, в пыли пригоняют стадо: и тысячу, и две тысячи лет назад так было... Гнали всего семь коров. Три из них зашли в один двор; впереди, раскачивая ведерным выменем, задевая раздутыми боками за штaketник, тяжело шла старая пегая корова — Ночка. Ее не однажды отбитые рога загнулись книзу. Следом за ней — дочь ее, которую так и называли: Дочка. Позади всех весело трусила молодая нетель. Коров быстро разобрали по дворам, и только одну все загоняли хворостинами — хозяйин, хозяйка и парнишка, — забегали с разных сторон: не привыкла еще ко двору, куплена недавно.

Когда мы лет двадцать назад поселились в этой местности, коров в деревне было сорок шесть, но косить запрещали, пусть хоть пропадает трава. И пропадала. Как только не исхитрялись хозяева, ходили и в соседний дачный поселок, где большие участки, выкашивали их за «спасибо». Но был и такой дачевладелец, который в одно лето сгноил уже скошенную траву, а вывезти с участка не дал; этому с тех пор носили молоко бесплатно. И год от года все меньше, меньше становилось коров, дошло до того, что на целую деревню остались три коровы. Летом дачники сражались за молоко, шли в магазин стоять в долгой очереди. Потом уже и косить разрешили, даже поощряли, но легче отучить, чем

приучать заново. Кто продал корову со двора, решился, тот вновь не заводит: старики слабеют, молодым не очень-то нужно.

И только в том дворе, куда одна за другой сами зашли три коровы, все эти годы держали и гусей, и индюшек, и кур, и обязательно корову с теленком. Весь этот воз тащила на себе Дуся: дети маленькие, муж — горький пьяница. Бывало, в горячую сенокосную пору придет отекавший, небритый, лицо черное от напора крови, одна нога — в ботинке, другая — в носке, печень раздута, вот такой живот перед собой несет: «Дай стакан!..» И хрипит: «Дуське не сказывай!» А Дуся, привезя на велосипеде молоко в поселок, всех предупреждает: «Моему не давайте денег. Будет просить, не наливайте ни за что!»

Однажды все же видел я ее с мужем. В праздник шли они через поселок к автобусу парой, нарядные, Дуся издала звонко здоровалась, чтобы все видели, как они с мужем в гости идут. Давно уже она не Дуся, а Евдокия Андреевна, молодости своей она так и не видела, но дети выросли, выучились; за старым, осевшим в землю домом стоит теперь новый, еще необжитый, кирпичный: два финских четырехстворчатых окна смотрят на юг, по три — на восток и на запад, и еще за домом — кирпичный гараж. Вот у нее и снял на лето полдома мой собеседник, с которым мы, искупавшись, сидели на обрыве, смотрели, как гонят стадо. Познакомились мы с ним здесь же, на реке. Вначале кивали друг другу, потом стали здороваться, разговаривать.

Обычно так складывается, что один кто-то любит рассказывать, другой — слушать. И каждый свой рассказ он начинал, словно бы возражая мне: «Вот вы говорите...» Я кивал, и следовала пауза. Это для меня наступала пауза, а он уже рассказывал мысленно, оттого многие его истории начинались как бы с середины.

— ...И ведь что замечательно: судим о человеке, не зная, а уж если составили мнение, с тем и живем. Вот в этом году, в марте месяце, спускаюсь вниз за газетами, вынул из ящика, открываю в лифте «Вечерку». Не знаю, как вы, а я лично всегда смотрю с последней страницы: что в кино, в театрах идет, кто умер? А умер такой-то. И, между прочим, мы с ним были знакомы. И даже не между прочим. Познакомились, сейчас я вам скажу, в каком году. Президента Кеннеди застрелили в шестьдесят третьем, так? Так! В том же году родилась наша дочь. В первый класс я ее не провожал, чего моя жена до сих пор забыть мне не может, а не провожал потому, что как раз в тот год, в сентябре, была у меня путевка на юг. Вот там, на юге, мы с ним и познакомились. В один и тот же час до завтрака я плыву, он плывет. Поплаваем от буйка к буйку, положим на воде и — обратно. Вначале кивали друг другу, как вот мы с вами, потом пошли необязательные разговоры. Плавал он отлично. Кстати, он и научил меня нескольким йоговским упражнениям, могу вам их как-нибудь показать. Пришло время — знакомимся. Я называю свою фамилию, он называет: такой-то... И вдруг я начинаю вспоминать: та-

кой-то, такой-то... И вспомнить не могу, и не могу отвязаться, что-то с этой фамилией связано.

Опять мы утром киваем друг другу, опять плывем вместе, а мне уже неприятно. И руку ему подавать неприятно. Как раз в эти дни прибило к берегу массу медуз,ходишь в воду, как в суп. Мальчишки, естественно, швыряются ими друг в друга, выкидывают на горячую гальку. Смотрю, он объясняет терпеливо, что медузы — санитары моря, нельзя, мол, не следует, а мне и это неприятно. И, главное, вспомнить не могу. Начал нарочно запаздывать на пляж. Прихожу, он, уже одетый, встречает улыбкой издали: «Что это вы, мол? Такое море...» — «Да так, не спалось, давление меняется...»

И точно, нагнало туч от Батуми, из сырого угла, ночью молнии полыхают, одна — в небе, другая — в море, гром, ливень хлынул тропический. Тут все же что-то с нервами происходит: вспомнил! И кто он, и что с ним связано — все вспомнил. Утром издали показываю одному моему сослуживцу на этого человека, тоже отдыхал там: «Не знаешь, кто это? А такая фамилия ничего тебе не говорит?» — «Ну как же!» И рассказывает мне. Точно! Конец сороковых — начало пятидесятых годов, вся эта история с биологами, помните, наверное? А я-то помню. Дядька мой, брат моей матери, закончил в ту пору свой земной путь.

Знаете, великим людям и тут даровано утешение: рано ли, поздно ли, их доброе имя будет им возвращено. Хотя бы и посмертно. Чем больше претерпел, тем ярче воссияет. Спросите сегодня, что провозглашал, например, Джордано Бруно? В чем состояла его ересь? Девяносто из ста, ручаюсь, не ответят. Так что-то вспоминается из школьных лет. А вот что дал себя сжечь на костре, но не отрекся, это запомнило человечество. А у дядьки моего несчастного никто даже и не вымогал отречения. Кто он? Сидел в рядах, как все, подымал руку, как все, потом и его время пришло. А что в нем, в рядовом, происходило!.. И с работы погнали не почему-либо, а так, среди других прочих.

Вот он встает утром, как привык вставать, начищает ботинки, тетка заворачивает ему завтрак в газетку, и уходит на весь день, будто на работу. Квартира-то общая, соседей стыдно, чтобы соседи не догадались. Вот это мне самое больное вспоминать: как он ботинки свои начищал по утрам. Где ходит целый день, что передумает? Чьи это стихи, не помните? «От слов, что высказать им не было дано, так тяжелы в гробах тела умерших...» Там же, в скверике, и подобрали его на скамейке: инфаркт. И завтрак остался в кармане несъеденный. Сколько их, таких безымянных. И ничто им не зачтется. А что засчитывать? На костре их не жгли.

И вот красавец этот — представляете! — в ту пору дирижировал. Не важно, что на десятых ролях, жизнями дирижировал. А теперь в море купается, ходит по берегу, топчет волны босыми ногами, камешки красивые собирает и деткам рассказывает про медуз, как жалеть их надо. И я пожимаю ему руку.

Так он мне отвратителен стал, весь, все в нем. Походка его самоуверенная, вид самодовольный, жизнелюбие это особенное: моря, солнца, воздуха кусок — ничего не упустить. Сложит руки на затылке, локти врозь, всего себя подставит солнцу и стоит так, загорает, чтоб и подмышки у него загорели. А сам уже блестит от загара, только ладони и пальцы розовые изнутри, как у обезьяны. Ненависть — это страшная штука, давит на расстоянии. И, главное, самого себя сжигает, весь ты коробишься на этом огне. А тут еще такое обстоятельство...

Собеседник мой начал рисовать что-то замысловатое большим пальцем ноги на мокрой глине обрыва. Я видел: одолевает себя. Не одолел все же:

— Ладно, не в том суть. В общем, недоумевал он поначалу. Увидит издали, приглашает взглядом. Я не замечаю. И вот обидно: море с утра такое ласковое, шлепает легонько волной по берегу, плывешь — каждый камушек под собой видишь на дне, а у тебя такая в душе муть подымается. Господи, одна жизнь, и ту прожить не умеем. Конечно, себе порчу отпуск, но и ему тоже.

Проходит год, два — не помню уже сколько, — настает мой час. Знаете, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, если бы еще так по части злых дел. Однажды в одном довольно высоком учреждении идет совещание. И я присутствую. Не более того: присутствую. Наш вопрос последний, многие уже разошлись. И тут называется его кандидатура на одну — не будем говорить, какую — должность. Сейчас перекинутся мнениями через стол, и вопрос решенный. Я как услышал, голова похолодела. Сказать? Так это еще как отыграется? Огорчительные такие случаи из прошлого уместно ли вспоминать? Складываю бумаги, а сам скромненько пожимаю плечом: дело, мол, не мое, но, признаться, удивлен. Заметили. Подумать, чтоб я это от себя — кто я такой? Значит, мнение приходилось слышать.

Чье мнение? Народ все опытный, вычислить умеют. Сработало! Недомолвки, полунамек, пожатие плечиком — это иной раз судьбы решает. Кто потом согласится на себя взять?

Но мир мал, хоть мы с ним и в разных, так сказать, сферах, все в нашей жизни рано или поздно узнается. Встречаемся однажды. «Скажите, за что вы меня так ненавидите?» А я смотрю на него. «Можете не верить, мне эта должность не нужна, я сам отбивался, как мог, но — за что? Должна же быть хоть какая-то причина?» Смотрю ему в глаза. Жду.

И вот разворачиваю в лифте газету — его фамилия в траурной рамке. А вскоре сослуживец мой встречается, с которым мы тогда отдыхали вместе. Помнишь, говорю, такого-то? На юге был с нами. Не помнит. Объясняя, кто, что с ним связано: «Ну, я еще спрашивал тебя, он или не он? Ты подтвердил». — «Не мог я тебе подтвердить, глупость какая-то». — «Да как же не говорил! — приступаю к нему. — Ты вспомни, вспомни! Такой-то! Ну? Помнишь? Загорал на пляже, станет, руки за го-

лову». — «А-а... И вся его вина, что загорал? Милый ты мой, он как раз в те годы сам пострадал. Вечерняя жертва. Ты его знаешь с кем спутал?» И называет похожую фамилию, всего две буквы в ней наоборот. Ах ты, бог ты мой! Не я спутал, ты меня сбил! Да что теперь с него возьмешь? И я же этого человека ненавидел все эти годы! Да как! Может, я ему своей ненавистью жизнь укоротил. Это ведь действует.

Собеседник мой махнул рукой безнадежно, встал и начал слезать с берега. Пятки его соскользнули по мокрой глине, он скатился, ударясь локтем. Стоя в воде, осторожно обмыл ссадину, поплыл, я — за ним.

Не знаю, отчего это происходит, но я замечал уже не раз: такая вот внезапная откровенность не сближает людей, наоборот, наступает некоторое отчуждение. На той стороне мы переоделись, каждый, в свою очередь, попрыгал на траве, попадая ногой в штанину.

Солнце уже наполовину зашло, тихий вечер садился на луг, и на нашу луговую речку. Закат отражался в ней — сплошное розовое зеркало.

Он причесался, еще раз огорченно оглядел и потрогал ссадину на локте:

— Давайте все же познакомимся, пора, наверное.

И добрыми глазами глядя на меня, протянул руку. Я пожал ее, холодную от воды, назвал. Он тоже называет свою фамилию: такой-то. «Такой-то, такой-то...» И вдруг я начинаю вспоминать...

СОДЕРЖАНИЕ

Свет вечерний	3
Вещие сны	27
Костенька и Коленька	33
Вот вы говорите...	43

Григорий Яковлевич БАКЛАНОВ

СВЕТ ВЕЧЕРНИЙ

Рассказы

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 23.11.87. Подписано к печати 15.01.88. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Учетно-изд. л. 3,26. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 150 000 экз. Зак. № 1639. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.